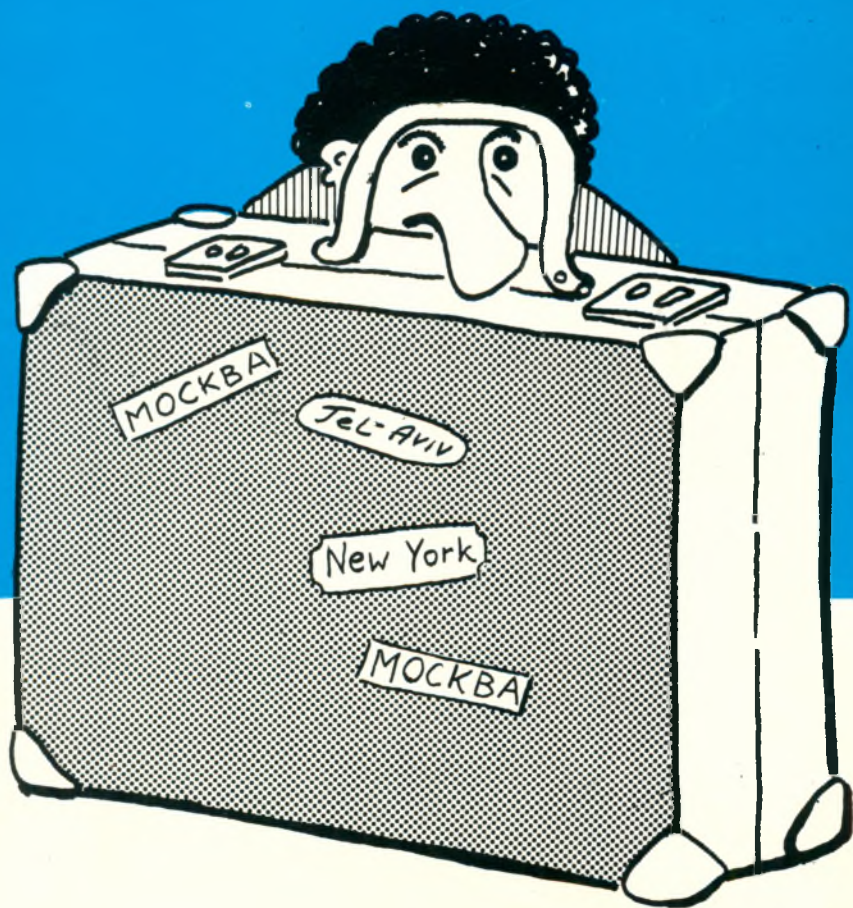


ЭФРАИМ СЕВЕЛА

**ОСТАНОВИТЕ САМОЛЕТ -
Я СЛЕЗУ**



В 1971 году Севела был заклеен советскими газетами как предатель и агент американского империализма и международного сионизма.

В 1977 — он был заклеен израильскими газетами как предатель и агент КГБ.

Нью - Йорк Таймс
7 ноября 1977

«Легенды Инвалидной улицы» Эфраима Севелы выдерживают сравнение с лучшим из написанного Шоломом Алейхемом . . .

Сильвия Ротшильд,
Нью - Йорк Таймс бук ревью.

Мы открыли прекрасного нового писателя . . . Севела достиг вершин традиционной еврейской комедии . . . Это - подлинная литература того направления, в которой блистает Вильям Сароян. Севела превзошел его . . .

Лукас Лонго ,
американский писатель,
газета *The New Haven Register*

«Легенды Инвалидной улицы» - маленький шедевр.

Сесиль Ланге - Нильсен,
норвежская писательница,
газета *Афтенпостен*

Эфраим Севела обладает свежим, подлинным талантом и поразительным даром высекать искры юмора из самых страшных и трагических событий, которые ему довелось пережить . . .

Ирвин Шоу,
американский писатель

Эфраим Севела

Остановите самолет —

я слезу!

FYMCA-PRESS

© 1977 Efraim Sevela

Gesamtherstellung: F. Zeuner Buch- und Offsetdruck,
Peter-Müllerstr.43, 8000 München 50,

Printed in West Germany

1980

*Красивая, 23 года, тугоухая, говорит
немножко на русском, грузинском и
иврите*

ХОЧЕТ

*познакомиться с подходящим молодым
человеком — тугоухим или глухонемым
с целью замужества.*

Из объявлений в израильской газете
на русском языке «Наша страна».

*Международный аэропорт им.
Дж. Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.
Борт самолета ТУ-144 авиакомпани
«Аэрофлот». Температура воз-
духа за бортом + 28°С.*

— Здравствуй, жопа, Новый Год!

О, простите ради Бога! Я не хотел сказать это вслух. Я только подумал так. Внутренний голос, как говорят киношники.

Но слово — не воробей, вылетело — не поймаешь. Поэтому еще раз прошу прощения, не сердитесь, не будем портить себе нервы. Так уж получилось, что рядом со мной сели вы, а не вон та блондинка. Я держал это место для нее — думал, сядет. А сели вы...

Значит, мы с вами — соседи. И лететь нам вместе в этом прекрасном самолете отечественного производства четырнадцать часов от города Нью-Йорка до столицы нашей родины Москвы. Поэтому не будем ссориться с самого начала, а лучше скоротаем время в интересной беседе и, возможно, если повезет, услышим что-нибудь новенького. Как сказал Сема Кац — пожарный при одном московском театре.

Вы не знаете эту историю? Слушайте, вы много потеряли. Эта история с бородой, ей было сто лет еще до того, как я очертя голову покинул Москву, чтобы жить на исторической родине.

Вы не знаете, что такое историческая родина? Сразу видно, не еврей. Любой советский еврей — сионист или антисионист, коммунист и беспартийный, идеалист и спекулянт, круглый дурак и почти гений — уж что-что, а что такое историческая родина, ответит вам даже в самом глубоком сне.

Но вы русский человек, это видно с первого взгляда, и зачем вам ломать голову: что такое историческая родина

— когда родина у вас была, есть и будет, и это понятно и естественно, как то, что мы с вами дышим. А у евреев с этим вопросом не все гладко, и поэтому тоже понятно, почему им не нужно объяснять, что такое историческая родина.

Но не будем отвлекаться и забегать вперед. Вернемся к нашему пожарному Семе Кацу. Из московского театра. А насчет исторической родины мы успеем еще обменяться мнениями. Впереди долгий путь и много времени. Я, как видите, поговорить люблю, а вы, как я вижу, умеете слушать. Неплохая пара — гусь да гагара. Это и называется приятным обществом.

Все! Хватит трепаться, переходим к делу.

Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним — великий русский ученый Михаил Ломоносов.

Пожарный Сема Кац, который каждый божий вечер, когда шел спектакль в театре, дежурил за кулисами на случай пожара, чтоб без паники и желательно без смертельных ожогов эвакуировать публику из зала, если пожар все же случится, относился ко второй категории евреев, то есть, не к тем, что дали миру Альберта Эйнштейна и основоположника научного марксизма. Сема Кац, хоть удачно выдал замуж двух дочерей и был дедушкой, отличался дремучим невежеством и наивностью новорожденного. Он знал только свою профессию и был без ума от театра. До того без ума, что мог в сотый раз с интересом смотреть одну и ту же пьесу. И поскольку стоило закрыться занавесу, как все начисто улетучивалось из его головы, то на завтра он с неменьшим увлечением слушал тот же текст, стоя за кулисами и разинув рот от удовольствия.

Так вот как-то раз этот самый Сема Кац потряс всю театральную Москву. Актеры, зная преданность пожарного Каца театру, великодушно позволяли ему сопровождать

их после спектакля до метро и молча слушать их треп. Сема Кац один единственный раз вмешался в разговор, и этого ему было достаточно, чтобы прославиться на всю Москву. И ее окрестности.

Актеры спорили о чем-то, шагая в сопровождении пожарного к метро, и кто-то, доказывая свою правоту, сказал:

— Это так же реально, как и то, что земля круглая.

— Земля круглая? — не выдержал пожарный Кац и рассмеялся этому, как удачной шутке.

Оторопевшие актеры, которые никак не ожидали обнаружить в середине двадцатого столетия в столице державы, запускающей спутники, такого мамонта, стали популярно разъяснять ему все, что знает крошка-школьник. Сема Кац слушал, как волшебную сказку, и у входа в метро, когда прощался с актерами, сказал растроганно:

— Вот почему я люблю с вами гулять — от вас всегда узнаешь что-нибудь новенького.

Прелестно! Я очень доволен, что удалось вас рассмешить. Значит, конфликт исчерпан, и мы можем познакомиться поближе.

Разрешите представиться. Рубинчик. Аркадий Соломонович. Сын, как говорится, собственных родителей. По профессии — увы! — парикмахер. Дамский и мужской. Не смотрите на меня так. Да, да. Парикмахер. И если вам показалось, что я кто-нибудь другой, то не вы первый ошибаетесь. Я — парикмахер высшего разряда. Гостиницу «Интурист» в Москве знаете? Там работал ваш покорный слуга и обслуживал исключительно высший свет — дипломатов, туристов, а главное, московский мир искусств. Все головы этого мира обработаны мною, и по закону сообщающихся сосудов кое-что оттуда перешло ко мне. Неплохо?

Каждый писатель из моих постоянных клиентов считал своим долгом обязательно дарить мне экземпляр только что вышедшей книги с соответствующей надписью и потом, приходя стричься или бриться, считал меньшим долгом спрашивать, как мне понравилось прочитанное, а чтобы я не увиливал, выпытывал конкретно, по главам.

Воленс-неволенс, мне приходилось всю эту муру не только читать, но и запоминать, чтобы не лишиться постоянных клиентов, которые как инженеры человеческих душ знают, что мастер тоже человек и ему надо оставлять на чай, иначе он протянет ноги, и некому будет работать над их талантливыми головами. Я не имею в виду идеологическую обработку. Это делали в другом месте.

Весь прочитанный мною винегрет и услышанные разговоры деятелей искусств — ведь уши не заткнешь — застряли в моей голове, и когда я открываю рот и начинаю говорить, многие ошибаются и принимают меня за писателя. Средней руки. Боже упаси! У меня есть моя профессия, и она меня пока еще кормит. И не место красит человека, а совсем наоборот: человек — место. Поэтому я, в отличие от некоторых, никогда не скрываю, кто я в действительности такой.

Парикмахер. И большой идиот. Потому как то, что я натворил, сдуру сунувшись куда не надо, мог наделать только набитый дурак.

Правда, меня утешает одно обстоятельство. То, что я не одинок в своем идиотизме. Добрая сотня тысяч советских евреев проделала то же самое, и скажу вам откровенно, с наименьшим успехом. И ходят теперь все лысыми. Потому что потом рвали волосы у себя на голове.

Но об этом после. Времени у нас — уйма.

Посмотрите, пожалуйста, вон та блондинка, на три ряда впереди, не на нас с вами оглядывается? Да. Роскошные волосы. Скажу по совести, на каждую женщину, которая чего-нибудь стоит, я сперва кладу профессиональный взгляд. Волосы, косметика. У стоящей женщины это дело всегда на высоте.

Вот и на эту блондинку я еще в аэропорту Кеннеди обратил внимание из-за ее шикарных волос. Потом оказалось, что и фигурка не подкачала. И нос на месте. И глаза без бельма. Что еще мужчине надо?

Тогда я стал смотреть на нее в упор — это у меня такой метод еще с юности, когда я жил в городе Мелитополе, — и стал мысленно ей внушать:

«Ты сядешь в самолете рядом со мной... сядешь рядом

со мной... это твой шанс... не проходи мимо своего счастья...»

Я сверлил взглядом ее затылок, пока у нас принимали ручную кладь, потом, когда мы спешили по длинному туннелю к самолету, и в самом самолете. Я повторял мое заклинание до тех пор, пока... рядом со мной не плюхнулись вы.

Тут-то я и сказал про себя, а вышло вслух:

— Здравствуй, жопа, Новый Год!

Это относилось даже не столько к вам, сколько ко мне самому.

Но теперь я не жалею, что так вышло. Что бы я с этой женщиной делал, имея ее рядом четырнадцать часов и все это время абсолютно недосыгаемую? Одно расстройство. А в вашем лице я нашел прекрасного собеседника, который вдобавок и умеет слушать. Что еще нужно еврею для полного счастья?

Пожалуй, одно. Чтобы наш самолет, не дай Бог, не упал в океан, где мы бы с вами долго мучились в ледяной воде, пока нас бы не пожалели и не съели акулы. Но это бывает по статистике только в одном полете из ста, и у нас с вами есть девяносто девять шансов благополучно приземлиться в Москве.

Лучше перейдем к более веселым темам, и пока вон та куколка-стюардессочка, с таким милым русским личиком, разносит ужин, я успею вам рассказать историю, которая произошла со мной тоже в самолете, и где мой метод прожигать взглядом женщину имел успех.

Это было в Америке, с год назад. Я еще был там зеленым и не совсем устроенным. Только-только из Израиля выкарабкался и искал, как мне зацепиться за эту страну.

В Нью-Йорке я работы подходящей не нашел, и один местный еврей, из филантропов, посоветовал мне слетать в город Вилмингтон, штат Северная Каролина. Там его приятель держит салон красоты, и для такого мастера, как я, у него, большого сиониста, место всегда найдется. Он даже позвонил своему приятелю в Вилмингтон, и тот даже прислал билет на самолет. Правда, в один конец. Обратный я покупал за свой счет, потому что сионист из

Вилмингтона посчитал меня за фраера и предложил мне плату — одну треть того, что он дает даже неграм. При этом он сказал, чуть ли не со слезой, что он всей душой с русским еврейством, и мы с ним — братья. Я ему сказал, что таких братьев я видал в гробу в белых тапочках, наскреб последние доллары на билет и укатил в Нью-Йорк — город желтого дьявола, как обозвал его великий пролетарский писатель Максим Горький.

Но не об этом речь. Я не жалею, что так неудачно слетал в город Вилмингтон, штат Северная Каролина. Кроме того, удачно я слетал или неудачно зависит, с какой стороны на это посмотреть. Должен вам признаться, что я таки очень удачно слетал и затраченные на обратный билет деньги не могу записать себе в убыток.

Еще в Нью-Йорке, в аэропорту Ла Гардия, я заметил ее. Вернее, волосы. Черные как смоль. С синеватым отливом. Натуральными волнами лежат на плечах и спине. И обрамляют эти волосы дивное личико волшебной восточной красоты. С чуть раскосыми глазками. Бровками вразлет. Губками, как роза. Кожа матовая. Ноздри трепещут, как у породистой лошади.

При этом миниатюрная, крошечная фигурка. Подстать моему росту. И одета со вкусом, и без претензий.

Одним словом, с ума сойти! И то мало.

Я стал жечь ее взглядом и внушать на расстоянии. Хотя, скажу откровенно, особой надежды не питал. Слишком хороша для меня.

Пассажиров в самолете было немного, неполный комплект, и свободных мест — сколько хочешь.

Сел я у окна, имея рядом свободное место, у прохода, и уставился на нее в упор, пока она продвигалась в глубь самолета с изящным чемоданчиком в руке. Смотрю на нее и внушаю. Мысленно. «Сядь со мною рядом, рассказать мне надо...»

Вы думаете, я хвастаюсь? Клянусь вам, это правда.

Она остановилась возле меня, вскинула свои реснички, и я кивнул ей, взял из рук чемоданчик и помог положить в багажную сетку.

Она сняла пальто, села, достала журнал и уткнулась в

него, словно меня на свете не существует. Я понял, дело плохо. Лету часа полтора, она едва успеет дочитать журнал. Надо принимать меры. Сесть со мною рядом — это я мог внушить. Но влюбить в себя — моего внушения не хватало.

И тут меня выручила газета. Еще когда я был в Израиле, и весь мир, а в особенности, американцы, еще не потеряли интереса к «мужественным советским евреям», меня сфотографировал корреспондент, и мой портрет появился в американской газете. Не потому, что я в действительности герой, а потому, что им нужен был еврей из Москвы, а не из Черновиц, и единственным москвичом среди черновицких и кишиневских евреев оказался я.

Портрет вышел что надо, а текст вокруг него расписали такой, что неловко было людям в глаза глядеть. Национальный герой... лидер... крупнейший... У американцев, если уж они берутся вас похвалить, так вы непременно и лидер, и крупнейший, и самый, самый. Так у них принято. Я это потом узнал.

Один номер той газеты я приберег и в нужных случаях, скромно потупясь, показывал, что не раз сослужило мне хорошую службу.

Газета как всегда лежала у меня в портфеле, и я достал ее, развернул портретом поближе к соседке и даже краем наехал на ее журнал. От моей невежливости она нахмурила бровки и нечаянно глянула на портрет. Потом подняла глаза на меня и снова на портрет. Ключнула!

И тогда я увидел, как возникает на этом волшебном личике интерес к моей особе. Она вежливо попросила газету: нельзя ли посмотреть? Я тоже вежливо, без суеты, протянул газету. Она впилась, а я, зная, как там расписан, затан дыхание, ожидая результата. Ждать пришлось не долго. Она снова подняла глаза — в них светился восторг. Еще бы! Она сидит рядом с героем борьбы за выезд советских евреев в Израиль, мужественным человеком.

Мой английский оставляет желать лучшего, но и ее английский не далеко ушел. Видать, тоже недавно в Америке. Иммигранточка. Стали болтать через пень-колоду. Я — грудь колесом, пускаю пыль в глаза. Она — ах да ах, не мо-

жет успокоиться, с каким, мол, человеком познакомилась. Чую, дело на мази. Остается только не поскользнуться на апельсиновой корке. Что меня настораживало, так это плутоватый огонек в ее прекрасных глазках, когда она поглядывала на меня. Будто разыграть собиралась.

Наахавшись и наохавшись, она сказала мне, играя, как бес, глазами:

— Я очень рада познакомиться с героем Израиля, но думаю, вы не очень обрадуетесь, когда узнаете, кто я. Ну, угадайте.

Я почувствовал подвох и окончательно растерял свой скудный запас английских слов. Вместо вразумительного ответа в башку лезли фразы из учебника английского языка, вроде: мистер и миссис Кларидж пошли в магазин делать покупки...

— Не напрягайтесь, — рассмеялась она, — все равно не угадаете. Я — арабка. И родилась на той же земле, куда вы теперь героически добрались из Москвы. Мы с вами оба, вроде, земляки. Только меня оттуда попросили, а вас — наоборот.

И смеется на все свои прекрасные тридцать два зуба, а я чувствую — мороз по спине ползет и брюки скоро отклеивать придется. Ничего себе, влип. Кого я приблизил к себе методом внушения? Арабскую террористку. Возможно, в чемоданчике, который я помог уложить в багажную сетку, мина с часовым механизмом? Я даже напряг слух, стараясь услышать тиканье.

Как бы угадав мои мысли, очаровательная террористка продолжала изводить меня:

— Два моих брата — бойцы «Народного фронта освобождения Палестины». Я тоже чуть не увлеклась этой романтикой, даже собиралась захватить изр'айльский самолет, но...

— Что «но»? — спросил я пересохшими губами.

— Но, — рассмеялась она, — раздумала. Вспомнила, что я — женщина, что молодость быстро пройдет, послала к черту моих братьев и эмигрировала из Ливана сюда. У меня — американский паспорт.

Я перевел дух.

— Но это, право, очень занятно, — продолжала она, — что мы познакомились с вами. И если бы у нас завязался роман, то мы были бы современные Ромео и Джульетта из враждующих домов Монтекки и Капулетти.

Начитанная, должен сказать, была эта канашка из «Народного фронта освобождения Палестины». Я делаю вид, будто мне не впервой попадать в подобный переплет.

— Так за чем остановка? — как можно беспечней спрашиваю я. — Что может помешать нашему роману?

— Если вы не возражаете, — отвечает, — то я — за.

Поверьте мне, после этого случая я переменил свой взгляд на арабов. Вернее, на арабок.

Послушайте, что было дальше.

Мы прилетели в Вилмингтон поздно вечером и поехали вместе в гостиницу «Хилтон». Там в каждом городе есть гостиницы под этим названием. Приезжаем. Она заказывает комнату на двоих и в карточке для приезжающих пишет, что мы — супруги, мистер и миссис Палестайн, что по-русски означает «Палестина». Вот bestия! Я чуть не начал икать.

А что было в постели — это ни пером описать, ни в сказке сказать. Тысяча и одна ночь! Шахерезада!

Через каких-нибудь пару часов я был уже пустой и звонкий, меня можно было надуть, как шарик, и я бы взлетел, потому что стал легче воздуха.

Я ей потом сказал:

— С таким темпераментом вы испепелите Израиль в два счета.

А она мне в ответ отвалила комплимент, лестный для всего еврейского народа:

— Если все евреи такие мужчины, как ты, я готова признать право Израиля на существование.

Это она сказала мне, который позорно сбежал с исторической родины в Америку. Но ведь она этого не знала. Так же, как и я не знал многого из ее, полагаю, не совсем монашеской жизни.

Уснул я как убитый, а проснулся в холодном поту.

В той комнате, где я ночевал, было окно во всю стену, и, открыв глаза, я увидел, как в кино, серый силуэт крей-

сера «Аврора». Исторический крейсер «Аврора» стоит на Неве в городе Ленинграде — колыбели революции.

«Значит, я в СССР, — заныло у меня в копчике, — меня усыпили и тайком переправили в Ленинград...» (Почему в Ленинград, а не в Москву? — об этом я даже не успел подумать.) «И прелестная арабка—не террористка, а агент КГБ! Сейчас пойдут допросы с пристрастием... и все из-за этого паршивого портрета в американской газете, где меня расписали черт знает кем».

Я лежал холодный, не смея шевельнуться и, как кролик с удава, не сводил глаз с серой «Авроры» за окном.

Одно меня удивляло, что подо мной не тюремная койка, а мягкая кровать. А также то, что окно почему-то без железной решетки. Больше того, у окна — дорогой торшер и кресло.

В широкой кровати я лежал один, но вторая подушка была примята, и на ней чернел длинный женский волос. Ее волос. Прелестной террористки.

И был я не в Ленинграде, а в Америке. В городе Вилмингтон, штат Северная Каролина. Крейсер за окном стоял тоже на реке, но не на Неве. Это был тоже исторический крейсер, но из американской истории, и как две капли похожий на нашу «Аврору». Его тоже под музей пустили.

Скажу вам откровенно, это большое чудо, что я не стал тогда импотентом. Но заикался я довольно продолжительное время, правда, окружающие такой дефект объясняли слабым знанием английского языка.

Кстати, обратите внимание, блондинка-то поглядывает в нашу сторону. Значит, мое внушение на расстоянии не прошло бесследно, и она что-то чувствует. Кто знает, что могло бы получиться, если бы не вы, а она села рядом со мной?

Ну, кажется, и нам несут ужин. Вот это я понимаю! По-царски! Ну, как тут не закричать на весь мир: «Летайте самолетами «Аэрофлота!» Икра! Красная и черная! Где, в каком еще самолете вам подадут такую роскошь?

Я полетал немало. Разными авиакомпаниями. И «Эл-Ал», и «Пан-Америкен», и «Эр-Франс», и «Люфтганза»... и «Юнайтед Артистс»... Нет, что я говорю? Прошу прощения. «Юнайтед Артистс» — это не авиационная, а кинокомпания, снимает фильмы. Я уже начинаю заговариваться. Видно, действует запах русской кухни.

Нигде так не кормят, как в «Аэрофлоте»! У них там все малюсенькими дозами, все отмерено в миллиграммах, как в аптеке. И безо всякого вкуса. Будто резину жуешь.

А у нас? В первом классе едят, а во втором голова кругом от запахов. Какой борщ! Какой аромат! Дымится! Клубится!

А девица-то... стюардессочка. Какие стати! Какой взгляд! Пава! Ей-богу, пава! Как поется в известной песне: посмотрела, как будто рублем подарила, посмотрела, как будто огнем обожгла.

Что может быть лучше русской женщины?! Заграничные стюардессы тоже, канашки, неплохи. Но с нашими... никакого сравнения. Там стюардессы как из одного инкубатора. И улыбка не своя. Положено по службе, вот и скалит зубы. Без чувства, без души. Как манекен в витрине.

А наша? Никакой улыбки. Даже бровки хмурит соболиные. Строга, мать. Знает себе цену. А уж улыбнется, так персонально тебе, и никому другому. От всей души!

Боже мой, боже! У меня сердце выпрыгнет. Я ведь не железный. Посмотрите, как она ходит! Как ногу ставит. Как бедром работает... левым... правым... Уй, глаза бы мои не глядели... можно схватить инфаркт. Естество... грация... врожденная. Такому не обучишь. Такой надо родиться... а это возможно только в России.

Ну, слава Богу, отошла. Поехала, мать, за новыми пор-

циями. Теперь хоть остыну немножко, успокоюсь. Знаете, такая и мертвого подымет.

Уф-уф-уф. Остываем. Берем второе дыхание... Хотите верьте, хотите — нет, но у меня была такая вот, и раз у нас разговор мужской, то и грех не поделиться. Тем более, что ни имен, ни фамилий, поговорили — и забыли, все репутации в полной сохранности. А кое-что полезное осядет в памяти. И веселое тоже.

Значит, была у меня стюардессочка, и не простая, как скажем, в нашем самолете, а из правительственного отряда, что возят по заграницам руководителей советского государства. Коллективное руководство. Святую троицу. Ха-ха. Ведь в Кремле как принято? Один летает, а двое других дома сидят, чтоб власть не отняли.

Вот она и летала стюардессой в этом самолете. То с одним вождем, то с другим, то с третьим. Там отбор строжайший. Самые красивые и самые проверенные политически и морально. Непременное условие — девичья невинность. После каждого полета — проверка. Их начальница в полковничьем звании кладет стюардессу на коечку, ножки повыше и врозь, пальчиком наощупь — девственность не нарушена?

Такой уговор был в коллективном руководстве, чтоб никто из троих не мог попользоваться, злоупотребить своей властью — все стюардессы невинные девицы. С комсомольским значком на юной груди.

Тут вы меня, по глазам вижу, поймали на слове. Как же, мол, так, уважаемый товарищ Рубинчик, заврались вы совсем. Живете с такой стюардессой из такого отряда, и ее что, не выгнали за потерю невинности? Что-то не сходятся концы с концами.

Вы абсолютно правы, дорогой. Но прав и я. Дело в том, что я с ней жил, когда она была уволена из отряда, по случаю замужества. Замужних там не держат. И все узнал, как говорится, постфактум.

Интересные, скажу я вам, подробности мадридского двора. Но это — строго между нами. Не каждому повезет спать с бывшей правительственной стюардессой, и не каждому повезет лететь рядом с этим счастливи-

ком. Поэтому вам — из первых рук, но дальше — рот на замок.

Летала моя красавица по всей планете, юная, сексуальная, кровь с молоком, только тронь — брызнет. Члены коллективного руководства, — каждый из трех вождей советского народа хоть и в преклонном возрасте, но все же живой, не из бронзы отлит, — шалеют, глядя на нее, да и на ее подружек. Но... партийная дисциплина, а главное — уговор. Нарушитель сразу выплывает. Не тюрьмой, полагаю, пахнет, но потерей доверия остальных из троицы. Раз в таком деле слово не держит, значит, и в более серьезном политическом акте может заложить коллег, подвести их под монастырь.

Любуются ею в полете, облизываются. По-отечески спрашивают, нет ли в чем нужды, не надо ли помочь. Кобели в намордниках. Око видит — зуб неймет.

Один оказался самым находчивым, но имени не скажу. Даже под пыткой. Зачем нам позорить свое родное правительство? Никакой нужды. Обойдемся без имен. А догадаетесь — на вашей совести.

Значит, один из них, когда ему предоставляют правительственный самолет для официального визита к какому-нибудь президенту или королеве, на высоте девять тысяч метров соберет в салоне своих советников для совещания: как, мол, будем решать судьбу такой-то страны, — и ее, стюардессу, к себе зовет. Приучил ее всегда стоять дом со своим креслом. Спор идет, дым коромыслом: холодная война, детант, разрядка, посылать оружие, нотой протеста грозить — а он, главный-то, при всех держит руку у нее под юбкой, гладит дрожащей рукой по трусикам. Такой вот, греховодник. И уговор соблюдает, и свое удовольствие имеет. Она же молчит, не хочет места лишиться.

Так и летала. И с теми, кто потише, и с этим приходилось. Возбуждал он ее жутко, до мигрени доводил своей руководящей дланью. Не выдержала, уволилась, выскочила замуж.

И как с цепи сорвалась девка. За все годы, что держала себя в узде. У мужа рога пробились гроздьями, целым бу-

кетом. Не человек, а стадо маралов. Через этого мужа и я к ней в постель попал и в паузах слушал ее истории, как служила в правительственном авиаотряде и летала в разные страны с нашими вождями.

Девка — первый сорт, не поддается описанию. Наша с вами стюардесса чем-то ее напоминает. Бывало, делаю ей прическу, дома, в роскошной спальне. Муж в отъезде. Она сидит нагая у зеркала, волосы распустит. Гляну на мраморные плечи, коснусь шелка волос и — готов. Приходится опять раздеваться и нырять в постель. Пока сделаешь ей прическу, полдня ухлопаешь и еле живой ползешь до метро.

Досталась она в жены скотине, и очень справедливо поступала, награждая его ветвистыми. Этот муж, я его имени тоже не стану называть, из писателей, что пишут детективы про героизм чекистов и деньги гребут лопатой. Толстый, с животом, без зеркала свой член не видит.

Никто из соседей по дому, из писателей, ему руки не подает. Официальный стукач. Едут писатели за границу, он к группе приставлен следить за поведением и потом куда следует рапорт писать.

И со мной вел себя по-свински. Другой писатель — настоящий, почти классик, — за ручку здороваётся, пострижешь его — обедом угостит, бутылочку заграничного виски с тобой раздавит. А уж заплатит не по прейскуранту, а с хорошим гаком. Этот же, чтоб от других писателей не отстать, тоже по телефону стал меня на дом вызывать. Словом не перекинется, сидит как сыч в кресле, щурится в зеркало нехорошо, не любит он нашего брата, а как платить — требует квитанцию и сдачи до единой копеечки.

Я б ему в харю плюнул, и пусть его черти стригут на том свете. Но увидел жену...

Тут я взял реванш. Работаю с ней только в его отсутствие. И платила она, должен вам сказать, не в пример супругу. И за себя, и за него, и еще лишку. Не жалела его денежек, не обижала мастера.

Я человек не мстительный. У меня мягкое отходчивое сердце. Но вот этой свинье я на большом расстоянии отвесил плюху. И, кажется, метко. Не мог простить ему ан-

тисемитский взгляд маленьких пороссячьих глазок. Вспомнил я этот взгляд в Америке, когда гулял однажды по Нью-Йорку и в витрине книжного магазина увидел что-то его очередное детективное... В переводе на английский. Ах, думаю, гад, всюду тебе дороги открыты, отыграюсь на тебе твоим же оружием, надо прикончить твою карьеру литературного вертухая. А как это сделать? Лишить политического доверия.

Взял грех на душу. Пошел на почту и латинскими буквами русскими словами отправил в Москву по его адресу телеграмму такого содержания:

«ГЛАДИОЛУСЫ ЦВЕТУТ ЗАПОЗДАНИЕМ»

И подпись: Стефан. Почему не Степан? Стефан не совсем русское имя, больше подозрения.

Почта из заграницы в СССР читается где следует. Что за текст? Какой подтекст? Чистейшая шифровка. Взять получателя на карандаш, установить наблюдение.

И я представляю, как он сам на полусогнутых понес в зубах компрометирующую телеграмму по начальству и стал строчить объяснения. А ему не верят. Мол, посадить мы тебя не посадим, а из доверия у нас ты вышел.

Больше его ни к одной делегации писателей не приставляли, безвыездно сидит в Москве, волком воет. В одиночестве. Жена-стюардессочка тю-тю — поминай как звали...

Мне об этом один писатель рассказал. Туристом был в Америке. Случайно встретил. Хороший мужик. Из моих бывших клиентов. Я ему сотню долларов отвалил, у советского туриста — копейки, чтоб семье подарки привез. Приеду в Москву — и он меня не забудет. А к детективщику, той свинье, в гости обязательно загляну. Может, знает, куда жена ушла, адрес даст, да и мне удовольствие посмотреть на дело рук своих — отставного стукача, наказанного за нехороший взгляд в зеркало, когда мастер работает над его дурной головой.

Что? Курить? Не курю. Ради Бога. О-о! «Тройка»! Отличные сигареты. Отечественные. Дым? Не мешает. Наоборот, как это у наших классиков? «И дым отечества нам сладок и приятен».

Знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Знакомая голова. У меня ведь жуткая память на головы. Профессиональное. Возможно, вы у меня стриглись? Захаживали в «Интурист»? Нет?

Ну, что ж, до конца пути, может быть, и вспомню. Лететь нам ой, как долго, и я, с вашего разрешения, поболтаю. Вы услышите кое-что интересное. О еврейской судьбе. О еврейском счастье. Об умении евреев устроиваться в этом мире.

Нам же многие завидуют. Думают, мы самые хитрые. А вы, пожалуйста, слушайте и мотайте на ус. Если у вас возникнет зависть к нашим удачам, скажите мне откровенно, и я пойму, что летел всю дорогу с идиотом.

Когда все это началось? Как это случилось? Какая бешеная собака меня укусила в ягодицу, что во мне стали проявляться все признаки болезни. Знаете какой? Той самой, когда до зуда в ногах, до спазм в желудке хочется непременно вернуться через две тысячи лет на историческую родину. Мне захотелось своей, не чужой культуры, и чтоб дети мои непременно учились на моем родном древнееврейском языке, именуемом иврит. Замечу в скобках, что детей у меня нет и быть не может, по уверению врачей, а что до культуры, то советская средняя школа плюс ускоренный выпуск офицерского пехотного училища навсегда отбили у меня вкус к плодам просвещения.

Помню, еще осенью семидесятого года я, беды не чуя, успел съездить в отпуск в Гагру, на черноморское побережье Кавказа. Без жены. На пляжах — глюннуть некуда. Сплошные куколки. С высшим образованием. Молодые специалистки. Не знаю, как они зарекомендовали себя в народном хозяйстве СССР, но в вопросах... ну, сами догадываетесь, что я хочу сказать... они были специалистки высшего класса.

Ах, море в Гагре, ах, солнце в Гагре!
Кто побывал там, не забудет никогда...

Эту песню поют во всех ресторанах черноморского побережья. Под дымный чад шашлыков и чебуреков. Под звон цикад. Дуря от запаха магнолий и олеандров. Млея от тепла круглой коленки в твоей ладони.

Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма — так, насколько я помню, начинается «Коммунистический манифест» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

По пляжам Черноморья в ту осень прогуливался совсем другой призрак. Призрак сионизма.

У евреев, обгоравших на пляже, появился нездоровый блеск в глазах. Как лунатики бродили они с транзисторами, прижатыми к уху, чтоб не подслушали православные соседи, и блаженно закатывали очи, внимая далекому «Голосу Израиля». До изнеможения, до хрипа разбирали они по косточкам всю Шестидневную войну и раздувались от гордости, словно сами первыми с крошечным автоматом «Узи» плюхнулись в воды Суэцкого канала. Они сравнивали Черное море со Средиземным, и Черное выглядело помойкой по сравнению с чистым, как слеза, белоголубым еврейским морем.

Над пляжами Черного моря шелестел сладкий, как грезы, придушенный шепот: Петах-Тиква, Кирыят-Шмона, Ришон-Лецион, Аддис-Абеба. Нет. Аддис-Абеба — это уже из другой оперы. Хватил, как говорится, лишку.

Я, признаться, только посмеивался над всем этим и ни на йоту не сомневался, что, как и всякое модное увлечение, это умопомешательство временно. и очень скоро пройдет и забудется, не оставив следа. Если не считать архивов КГБ.

Евреи не давали мне покоя.

— Ай-ай-ай, Рубинчик, Рубинчик, — качали они головами. — Что вы прикидываетесь, будто вам все равно? Еврейская кровь в вас еще проснется. Рано или поздно. Но смотрите, чтоб это было не слишком поздно.

А я их в ответ посылал, знаете, куда? По известному русскому адресу. До мамы, с которой поступили не очень хорошо.

Почему-то мой жизненный опыт мне подсказывал: Ар-

кадий, будь бдительным. Даже если еврей лезет к тебе в душу, не спеши с ответом — каждый советский человек, если к нему хорошенько присмотреться, может оказаться писателем, из тех, чье творчество всякий раз начинается со слова «Доношу»...

Я даже покинул раньше срока Кавказ. Но в Москве мне легче не стало: эпидемия дошла до столицы и стала подряд косить евреев.

Сидит в кресле клиент, рожа — в мыле, один еврейский нос торчит из пены, но стоит мне наклониться к нему, и сразу начинает шепотом пускать мыльные пузыри:

— Вы слушали, Рубинчик, «Голос Израиля»? Наши совершили рейд в Иорданию — пальчики оближешь. Никаких потерь, а пленных — десять штук.

Я прикидываюсь идиотом:

— Какие наши? Советские войска?

Из-под простыни мне в нос лезет указательный палец:

— Рубинчик, вы не такой идиот, каким стараетесь показаться. До сих пор я считал вас порядочным человеком. Вы, что, хотите быть умнее всех?

Я не хотел быть умнее всех, я не хотел быть глупее всех. Я хотел, чтоб меня оставили в покое.

У меня был радиоприемник. Японский. «Сони». С диапазоном, каких в СССР нет, в шестнадцать и тринадцать метров на короткой волне. Туда советские глушилки не достают, и можно отчетливо слышать любую станцию мира на русском языке. Не только «Голос Израиля», но и «Свободу», «Би-Би-Си», «Немецкую волну» и «Голос Америки». Купил я его за жуткие деньги у одного спортсмена, вернувшегося с Олимпийских игр. И он еще считал, что сделал мне одолжение, потому что был моим клиентом. Купил для того, чтобы иметь ценную вещь в доме, а заодно и побаловаться, когда будет охота. Естественно, когда никого нет рядом и есть гарантия, что на тебя не стукнут.

Так вот. Я отнес этот приемник в комиссионку и загнал его по дешевке, не торгуясь, лишь бы подальше от греха. Потому что сердце — не камень, и когда все вокруг

только и шепчутся про Израиль, рука может сама включить приемник, а ведь ухо ватой не заткнешь.

Я считал себя вполне застрахованным от того, чтобы не попасть впросак и клонуть на отравленную наживку, но тут последовал удар с самой неожиданной стороны.

Вы думаете, международный сионизм подослал ко мне тайных агентов, и они большими деньгами заманили меня в лоно еврейства? Или свои доморощенные сионисты стали осаждать меня и так загнали в угол, что мне уже и деваться было некуда?

Ничего подобного. Евреем, а заодно и ненормальным, потерявшим контроль над собой, сделал меня сосед по коммунальной квартире, чистокровный русский человек, член КПСС Коля Мухин. Слесарь-водопроводчик нашего ЖЭК'а, пьяница и дебошир, каких свет не видывал.

По вашим глазам я читаю, что вы уже знаете дальнейшее: сукин сын и антисемит Коля Мухин жестоко задел мое национальное достоинство, обозвал жидом, да еще впридачу по уху съездил, так что я со всех ног помчался в Израиль.

Ничего подобного. Даже наоборот.

Из всех сорока жильцов нашей квартиры Коля Мухин был моим самым близким другом и, бывало, даже под самым высоким градусом сотворит, что угодно, но никак не обидит меня. Боже упаси! Любому морду расквасит за один косой взгляд в мою сторону. Мы с ним были, что называется, водой не разольешь.

Что нас сблизало? Очень многое. Хотя я щупл и ростом мал, да еще еврей впридачу, а он славянин, косая сажень в плечах и с характером, более чем невоздержанным.

Хотите верьте, хотите — нет, но сейчас я это понимаю абсолютно ясно, нас свела и накрепко связала одинаковость судьбы. Советское происхождение и советская жизнь. Со всеми ее фортелями.

Мы с Колей — ровесники, и учились оба, хоть в разных городах, но в одних и тех же советских школах. Оба воевали и оба остались инвалидами. Даже в одном звании ходили: младший лейтенант, ванька-взводный. И он, и я не пошли в гору после войны, не кончали институтов, а

взяли в руки ремесло, чтоб иметь кусок хлеба: он стал ржавые трубы чинить и замки в двери вставлять, а я волосы стричь и бороды брить. Пролетарии неумственного труда.

Оба получали, благодаря заботам советского правительства о рабочем классе — хозяине страны, такое жалование, что если не жульничать и не мухлевать, то живо ноги протянешь. Поэтому Коля слесарничает налево, не для плана, а для себя, и я стригу и брею тоже налево, в свой карман. С одной разницей, что я весь барыш волоку домой жене, а он — загадочная славянская душа — все до копейки пропивает.

И еще он отличается кое-чем. Коля — член КПСС, состоит в славных рядах коммунистической партии. Членские взносы из него клещами ташат, на собраниях клеймят как антиобщественный элемент, но из партии не выгоняют во избежание резкого сокращения рабочей прослойки. Я же — беспартийный. В войну, когда меня за волосы волокли в партию — была в ту пору мода каждому солдату и офицеру писать перед боем заявление: если погибну, прошу считать коммунистом, — я как-то умудрился увернуться. Позже, даже если бы я очень захотел, это бы мне вряд ли удалось — мешало еврейское происхождение.

В этом и состояло наше различие, хотя во всем остальном мы были более чем похожи. Потому-то Коля Мухин во мне души не чаял, и я его любил, как мог, хоть это совсем не нравилось моей жене.

Чтобы дать вам полное представление о моем друге Коле Мухине, я изображу одну сценку, и вы согласитесь со мной, что он был действительно славный парень, краса и гордость нашего старшего брата — великого русского народа.

По пьяной лавочке, а часто и натошак, с похмелья, Коля обожал съездить по уху своей жене Клаве, а при удачном попадании, засветить ей фонарь под глазом. Делал он это не таясь в своей комнатке, а в общей кухне, всенародно. Однажды соседи не стерпели, — уж очень они жалели Клаву, — и сбегали за участковым. Милиционер, увидев распростертую на полу кухни Клаву, грозно под-

ступил к Коле. Соседи во всех дверях и углах замерли от сладкого предвкушения: ну, голубчик, не миновать тебе тюрьмы.

А Коля не только не струсил. Наоборот. Строгим стал, серьезным. Взял милиционера под локоток, подвел к газовой плите, поднял крышку над кипящей кастрюлей.

— Понюхай, — говорит, — чем она меня кормит.

Милиционер понюхал, и его перекосило.

— За такое, — говорит, — убить, и то мало. Правильно учишь, товарищ.

Вот он какой, мой лучший друг Коля Мухин. Он-то меня и наставил на путь сионизма, и все, что со мной приключилось потом — отчасти и его заслуга.

У Коли тоже имелся транзисторный приемник. Не японский, конечно. А наш, советский. «Спидола». Коля — мастер на все руки — сам вмонтировал в него короткие диапазоны в шестнадцать и тринадцать метров и на трезвую голову обожал послушать заграничные радиостанции, вещающие по-русски. Делал он это, в отличие от меня, довольно громко. Так что и соседям за тонкими стенами было неплохо слышно. Но никто на него не доносил. Во-первых, потому что знали: это не хулиганство, а политическое преступление, контрреволюция, за такое могут Колю упечь в Сибирь, и бедная Клава хоть и почувствует облегчение поначалу, но потом хватится, да будет поздно. С тоски зачахнет. Жалко женщину. Во-вторых, все знали колин буйный нрав и его тяжелую руку — боялись мести.

Когда я продал, подальше от греха, свой транзистор, заграничные радиоволны не покинули мою комнату, и ядовитая антисоветская пропаганда продолжала бушевать по всей ее кубатуре. Стоило утихнуть соседским разговорам и скрипу пружин за стенами нашей большой коммунальной квартиры, и только сверчок в коридоре заводил свой концерт, как включалось занудное, вроде бормашины у зубного врача, зудение и скрежет советских заглушающих станций. Это значило, что Коля Мухин включил свою «Спидолу», беря разгон через глушители, чтоб нащупать и настроиться на чистую, недосыгаемую для помех волну. Потом раздавались мелодично и звонко позывные

«Би-Би-Си», и чистый женский голос задушевно сообщал всем сорока затаившим дыхание обитателям двенадцати комнат:

— Говорит Лондон.

Или мужской голос:

— Слушайте передачу радиостанции «Свобода».

Или без никакого еврейского акцента:

— Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля».

Никуда не спрячешься. Да ведь и уши, на то они и есть, чтобы слушать. И мы с женой лежим под одеялом, высунув носы, и слышим биение своих сердец и голос израильского диктора из комнаты Коли Мухина.

Коля в последнее время из всех станций мира отдавал явное предпочтение израильской. И на то были серьезные основания. Оттуда читали полные тексты до жути откровенных и отчаянных писем советских евреев, тайком, без цензуры, переправленных на Запад, с призывом помочь им уехать из СССР в Израиль. Тогда-то я и услышал впервые выражение «историческая родина» и, прикинув в уме, согласился, что это так и есть. Действительно, все евреи, вернее, наши дальние предки, родом из тех мест на Ближнем Востоке, и это абсолютная правда, что две тысячи лет мы скитаемся по свету, и нигде нас не любят. Возразить было трудно. Да и некому. Слушали мы вдвоем с женой, лежа под одеялом, и мнениями не обменивались. Только выразительно косились друг на друга, а в некоторых патетических местах просто не дышали.

Самым захватывающим, до холодка по спине, было то, что люди, писавшие такие письма, где за каждую строчку, по советской норме, причиталось от трех до пятнадцати лет, не только не прятали своих имен, а совсем наоборот, приводили их полностью, даже с отчеством и, чтоб их легче было арестовать, добавляли домашний адрес.

Я в такое не мог поверить. Жена моя тоже. Хотя мы с ней и полсловом не обменивались.

Нарушил молчанку Коля Мухин. Мы с ним сидели как-то в скверике, глазели на баб. Так мы обычно с Колей напару любили отдыхать без жен, если, конечно, не было

левой работенки, на стороне, и отводили душу в мужских разговорах.

Коля первым заговорил про эти письма:

— Я тебе вот что скажу, Аркадий. Не верю я в них ни на грош. Чистейшая липа. Пропаганда! Ну, подумай своим еврейским умом, какой дурак, если он вырос в Советском Союзе и знает наши порядки, учудит такое? Да еще адрес добавит. Приходите, мол, и берите меня тепленьким в постельке. Чудаки там, в Израиле, насочиняют чепухи и дуют в эфир, и думают, мы, глупенькие, так им и поверим. Нет, братцы. Стрелянного воробья на мякине не проведешь. Это я тебе говорю как партийный беспартийному. Понял?

И даже рассмеялся от злости.

— Русский человек, Аркадий, страхом насквозь пропитан. И даже глубже. Его от этого еще век не излечишь. Без дозволу начальства мы шагу не ступим, отучены раз и навсегда. Тем более, евреи. Ваш брат вообще нос боится высунуть.

Ну, чем ты от меня отличаешься? Что нос подлиннее да пьешь поменьше? А в остальном, порода одна — советская. Чем нас больше пинают, тем слаще сапог лижем.

Нет, не верю я в эти письма и призывы. Это все штучки-дрючки для дурачков. Вот пойди проверь любой из адресов, что они назвали, и сразу обман откроется. Ручаюсь, и фамилии придуманы и адресов таких в помине нет.

Я с ним полностью согласился, и мы пошли в ближайшую забегаловку. Я заказал себе пива, Коля сто пятьдесят с прицепом. Сто пятьдесят грамм московской водки и бокал пива. Коля смешивал это и пил мелкими глотками. Как горячий чай. Без закуски.

Коля и не такое умеет. Однажды, пропив всю получку, он покался перед Клавой и дал ей слово даже в праздники не пить. Клава за ним ходила, глаз не спускала, да и все соседи тоже стерегли. Однако Коля исхитрился.

Захожу на нашу общую кухню вечером. Коля сидит, как подопытный кролик, смирный, благостный, хлебает

из тарелки. Клава, довольная, вертится у плиты, даже песенки под нос мурлычет.

Гляжу, Коля крошит в тарелку хлеб и все это уплетает. Соседи заглядывают на кухню, уважительно кивают ему. Держит человек слово.

Подошел я ближе, не пахнет борщом, хоть убей. Спиртным отдает. Коля на меня хитро так глаз прищурил, и по глазу вижу: уже косой. Тут и Клава хватилась — учуяла.

Оказалось, Коля всех вокруг пальца обвел. Втихаря налил полную тарелку водки, накрошил туда хлеба и ложкой, как суп, наворачивает. Ни крикнет, ни дух переведет. Ест нормально, как куриный бульон. Это же какую глотку надо иметь?

Коля продолжал упорно не доверять вражеской пропаганде и с тем же упорством продолжал слушать, как пишут в газетах, ядовитый и лживый «Голос Израиля».

Наконец, его терпение истощилось:

— Послушай, Аркадий, — зашептал он мне, когда мы прогуливались по безлюдному скверику. — Есть шанс убить медведя. Я вчера еще одно письмо слушал. Страсти-мордасти. Подписанты — все москвичи. Я нарочно один адресок засек. Здесь рядом, на Первой Мещанской. Патлах Бенцион Самойлович. Давай сходим, завалимся в гости, проведем голубчика. А? Что мы теряем? Зато убедимся раз и навсегда, что нет такого Патлаха Бенциона по данному адресу. И дома под этим номером на Первой Мещанской сроду не бывало. А квартиры — никто слыхом не слыхал. Чего душу напрасно бередить? Сходим — и я это радио больше к уху не подпущу.

И пошли мы. Благо, недалеко — рукой подать. Действительно, зачем нам нервничать, когда можно одним ударом все сомнения развеять.

Прём мы по Первой Мещанской, смотрим номера домов так, для близиру, потому как на сто процентов уверены, что такого номера там нет и в помине. Вдруг видим... Вот он, этот самый номер! Трехэтажный дом. И квартира есть. На первом этаже. С табличкой на двери: Б. С. Патлах.

Мы чуть было не дали тягу. Да Коля удержал.

— Погоди, Аркаша. Очень мне необходимо этого Патлаха Бенциона Самойловича в личность увидеть. Непременно. Не могу я поверить, что такие бесстрашные чудачки живут среди нас. У меня, понимаешь, в голове полный заворот кишок. Не увижу его — совсем сопьюсь. А если обнаружится, что все это не липа, тем более надо выпить. За твой народ. Аркаша. Самый отчаянный. И великий.

Потоптавшись у двери и собравшись с духом, мы позвонили. Нам открыли сразу же, будто ждали звонка. На пороге стояла седенькая старушка с таким носом, что не приходилось сомневаться в ее национальной принадлежности.

— Бенья, — слабым голосом позвала она. — Это за тобой.

В глубине квартиры послышались шаги, но старушка не стала дожидаться Бени и, как курица-наседка перед собакой, ощерилась на нас:

— Берите! Хватайте! Загоняйте иголки под ногти! Всех не передошлите! Нас — миллионы.

Тихо, не очень повышая голос, кричала она эти слова в курносую колину рожу. Меня за его спиной она даже не заметила.

— Успокойся, мама, — обнял ее сзади худющий еврей, довольно молодой, но лысый, как Ленин. — Не нужно истерик. Не доставляй им этой радости.

Он, как и его мама, ни на йоту не сомневался, что мы пришли за ним, и совершенно не оробел. Слегка побледнел, и все.

— Дай мне, мама, сумку с бельем. Я все приготовил, — сказал он и поцеловал старушку в лоб.

Мы с Колей так и приросли к полу. Потому что мы увидели то, во что ни за что не хотели верить. Мы увидели героя. Живого. Непридуманного. Советского человека, который не боится советской власти. Можно было схватить инфаркт на месте.

Первым вышел из стобняка Коля Мухин.

— Паглах! Сука! — взвыл он от избытка чувств и заключил в свои медвежьи лапы лысого, как Ленин, Патлаха. — Дай я тебя расцелую, Бенцион Самойлович, морда

ты моя жидовская. Да ты же мне всю душу перевернул, да я отныне новую жизнь начинаю!

— Вы, собственно, кто такие? — растерялся хозяин.

— Аркаша, — догадался Мухин, все еще не выпуская Патлаха из объятий, — он нас за легавых принял. Чудило! Скидай, Аркадий, штаны. Покажи ему, что мы — евреи.

Все уладилось. Мамаша Патлаха нас потом чаем угощала с вареньем, а сам хозяин картины свои показывал. Он художником оказался. Из непризнанных. В СССР их формалистами зовут. Абстрактными.

Если честно признаться, я в этом ничего не смыслю. Мне приятно смотреть на картину, где все ясно и понятно. Где лошадь — лошадь, а трактор — это не аэроплан. А все эти штучки-дрючки, по-моему, на дураков рассчитаны.

Колины вкусы от моих не намного отличались. Мы из вежливости посмотрели несколько картинок, маслом писаных. Сплошная фаршированная рыба. Живая, но уже фаршированная. Плывет в воде, хвостом машет. И хвост — не хвост, а вроде пучка сельдерея. Дальше — рыбный скелет. Обглоданная рыба.

— Еврейская сюита, — с достоинством пояснил художник.

Мы это все проглотили без инцидентов. Потом допоздна слушали художника. Соловьем заливался — рассказывал нам о стране своей мечты. Таких чудес наговорил, как научная фантастика. Мы с Колей рты поразинули, как малые дети.

А художник как одержимый. Глаза сверкают, пена на губах. Настоящий сионист. Пламенный.

Вывалились на улицу в темноте. В голове гудит, сердце колотится. Вот когда меня одолела сладкая отравка сионизма. Да и Колю заодно.

По этому случаю мы завернули в забегаловку и такого дали газу — еле нашу коммунальную квартиру потом нашли. Коля озверел от уважения к евреям, которых он до этого не больно жаловал. Если не считать меня.

Главное представление разыгралось в нашей общей

кухне. Коля приставил меня к стене, чтоб я не упал, и пошел по комнатам сзывать соседей. Люди уже спать легли, рабочий народ — он их из постелей выволок.

Первой притащил простоволосую, в ночной рубаше Клаву — жену свою. Ткнул ее к моим ногам.

— На колени, шкура вологодская!

Клава родом из-под Вологды.

— Стой на коленях перед ним! След его целуй!

Второй была наша дворничиха Сукильдеева.

— Становись, татарское иго! — приказал Коля. — Уважь мудрейший народ.

Пенсионера Бабченко он швырнул к моим ногам так, что косточки хрустнули:

— Кайся, хохол, за невинно пролитую кровь этой нации. За Батьку Махно, за Петлюру. Гнись, сука! Придушу!

Дальше пошли жильцы русского происхождения. Им Коля велел хором прокричать: «Слава великому еврейскому народу!»

— Раз, два, три, — скомандовал Коля. — Начинай!

И осекся. Хмель дал утечку, мозги прояснились.

— Ладно, — вяло сказал он, — отбой. А ну, кыш отсюда по своим углам! А что было — замнем для ясности.

А вы спрашиваете, как это началось? Вот так и началось. И остановиться сил не хватило.

Я потом к этому художнику стал наведываться. Манило послушать его речи. Иногда вместе с Колей заваливались. И слушали-слушали — не надоедало. Пока он визу не получил и не отбыл. Куда вы думаете? В Израиль? Малость ошиблись, дорогой. Он, голубчик, дальше Вены не сдвинулся. Остался в Австрии. Говорят, процветает. Его фаршированные рыбы нарасхват у немцев. Комплекс вины, как пишут в газетах.

«Ах, ах, ах, — скажете вы. — Как это такой пламенный сионист, который других сагитировал, сам улизнул, укрылся в теплом местечке?»

И если вы думаете, что я его сейчас начну бичевать и оплевывать, как дезертира и бесчестного человека, то глубоко заблуждаетесь.

Теперь-то, после всего, что я пережил, я глубоко уважаю этого Патлаха, Бенциона Самойловича, и понимаю, что он был самым мудрым из нас. По крайней мере, логики у него было больше, чем у всех нас вместе взятых.

Никого он не обманывал. Он действительно был без ума от Израиля и все передачи оттуда на русском языке слушал с раннего утра до поздней ночи. Он был как заведенный будильник. В разгар самого задушевного разговора он вдруг умолкнет, взглянет на часы и включает радио. Его мозг был настроен на «Голос Израиля» с точностью до одной секунды. Он включал рычажок, и без паузы раздавались позывные Иерусалима.

Я был у него в гостях и видел, как он сломался. У него сидел народ. Конечно, евреи. Стоял жуткий галдеж.

— Тихо! — крикнул он. — Слушаем Израиль.

Стало тихо, и он включил свой транзистор. Но и там тоже было тихо. Только легкое потрескивание. Художник глянул на свои часы и неуверенно спросил:

— Неужели мои часы врут?

Нет, часы не ввали. Сверили с другими. Время было точное.

На израильской волне продолжались слабые шорохи.

Художник перевел рычажок на «Би-Би-Си» — там вовсю гремели позывные Лондона. Он прыгнул на «Голос Америки» — и там позывные убывали, приближаясь к концу.

Все больше меняясь в лице и бледнея, художник вернулся к Иерусалиму. Тишина.

И так две с половиной минуты по часам. Потом дали позывные, и женский голос, как обычно, сообщил:

— Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля».

И ни слова извинения за опоздание.

Художник выключил радио, опустил свою лысую, как у Ленина, голову и так просидел какое-то время, пока мы не зашевелились, собираясь уходить.

Он поднял на нас глаза, и это были не его глаза. Огонь в них угас.

— Все, — сказал он. — Страна, в которой государст-

венная радиостанция, вещающая на границу может опоздать с передачей на две с половиной минуты и не извиниться, пусть даже по техническим причинам, — это не государство, а бардак. Мне там делать нечего.

И не поехал.

Он был самым прозорливым евреем в Москве. Он был провидцем. Недаром у него была лысина, как у Ленина.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Стригся Коля Мухин, конечно, только у меня. И, как вы сами понимаете, бесплатно. У меня бы рука отсохла, если бы я взял с такого близкого кореша хоть одну копейку, и если вы подумали на минуточку, что я на такое способен, так это только от того, что вы меня абсолютно не знаете.

То, что он стригся бесплатно, так это, как говорится, полбеды. Коля категорически воспротивился, чтоб мы это делали после работы, в моей комнате, где моя жена, а не его, будет потом выметать колёны лохмы. Он посчитал это унижительным для себя. Это оскорбляло его пролетарскую рабочую гордость.

Коля приходил стричься ко мне в парикмахерскую. А наше заведение, должен я вам сказать, совсем не для таких личностей, как Коля Мухин. То есть, не для слесарей-водопроводчиков. Я работал в одной из самых шикарных гостиниц Москвы. Сплошной мрамор и бронза. Хрустальные люстры с тонну весом. Среди гранитных колонн в нашем холле может заблудиться взрослый человек. Церковь, храм, а не отель. Люкс, чего тут рассказывать. И, как вы сами понимаете, в таком раю проживают знатные иностранцы, советские генералы, дипломаты со всех концов света. Иногда попадаются и личности с Кавказа. Они сыпят деньгами налево и направо и получают в нашем отеле любую комнату и в любое время, потому что платят не в кассу, а администрации в лапу. Иначе бы их и на порог не

пустили. Со свиным, как говорится, рылом да в калашный ряд. Как, скажете вы, с советским паспортом? Да еще непроверенный простой человек? Точно. Но простой он с виду, а на самом деле — золотой. Сунет такой кавказский человек кругленькую сумму, и иностранца моментально переведут к черту на рога, куда-нибудь в Останкино, а ему, кавказскому человеку, пожалуйста, полулюкс с белым роялем.

Он на рояле не играет. Он увенчан другими лаврами. Он с Кавказа возит в Москву лавровый лист. Понятно? Миллионные барыши. То, что он имеет за день, я за пять лет не получу. И Святослав Рихтер, и Давид Ойстрах тоже.

Вот какой у нас клиент. Я имею в виду не кавказцев — их один процент, а иностранных туристов, генералов и дипломатов. Когда сидят, ожидая очереди, чтоб попасть ко мне в кресло, можно подумать, что это международный конгресс на самом высшем уровне. Фраки, ордена, аксельбанты. Дамы в невероятных мехах и бриллиантах. А кругом сверкает хрусталь, стены переливаются мраморными жилками, ноги тонут в мягких коврах. И все они, не взирая на чины и звания, терпеливо ждут, пока я приглашу в кресло. С французом — силь ву пле, с американцем — плиз, а с нашим иконостасом — милости просим, товарищ генерал.

Один Коля Мухин не признает очереди. Он вваливается ко мне, весь в мазуте и ржавчине, в рваном ватнике, из брезентовой сумки торчат гаечные ключи и ручная дрель, плюхается в кресло между фраками и мундирами и зычно, как в лесу, объявляет:

— Кто последний — я за вами.

Но это только так, для проформы. Стоит моему креслу освободиться, и он рвет ко мне, оттолкнув любого, кто подвернется под локоть.

Коля шокирует насмерть нашу клиентуру. И делает это нарочно и со вкусом. Как же, мол, не пропустить вперед рабочего человека в рабоче-крестьянском государстве? Чья власть? Рабочих! Кому почет и уважение! Рабочему! Извольте расступиться, дать дорогу гегемону, то есть пролетариату.

Коля Мухин с виду прост, а на деле хитрее ста армян и еврея впридачу. Он знает всю правду, а прикидывается дурачком. Сами, мол, вопите про рабочую власть, ну, так вот и ешьте: любуйтесь хозяином страны, как вы меня, пролетария, называете. Душу отводит.

Я хоть про себя и радуюсь, что он им в морду наплевал, но в то же время опасаюсь, как бы меня за его проделки не выставили без выходного пособия. Коля — русский и член КПСС. Он вытрезвителем отделается. У меня же нет его преимуществ. Сунут волчий билет в зубы — и гуляй как знаешь.

Многие за границей любят рассуждать о русском человеке. Пишут книги, спорят по телевизору, жалование за это получают. Загадочный, говорят, сфинкс, тайны славянской души. Вот уж, погодите, проснется русский народ, он свое слово скажет.

Меня от всего этого смех берет. Или, думаю, идиоты, или притворяются, чтоб без куска хлеба не остаться. Я ученых книг на этот счет не читал и читать не стану. Я прожил пятнадцать лет, как один день, в общей квартире с Колей Мухиным и распил с ним не одно ведро водки. Поэтому выбросьте все книги и послушайте меня. Я вам нарисую конный портрет, как говорил один мой клиент, самого типичного русского человека, а вы себе делайте выводы.

Начнем с советской власти, которой русский народ, наконец, разобравшись, что к чему, покажет кузькину мать.

Коля Мухин на советскую власть руку не поднимет. Можете не мечтать. Он давно знает ей красную цену в базарный день. Больше того, люто он ее не любит и честит на все корки, когда пьян. И при всем при том, когда войдет в раж, будет козырять этой властью как своей и даже гордиться, что он, мол, рабочий человек — хозяин всей страны.

Он уже сто лет стоит в очереди на отдельную квартиру, а достаются они другим: за взятки или за чин высокий. Ему же, рабочему человеку, со своей женой Клавой, тоже рабочим человеком, век прокисать на двенадцати квадратных метрах. Коля прекрасно понимает, что все во-

пли и лозунги о рабочем человеке — это туфта, для дураков. Потому и откалывает коленца, когда вваливается в роскошный отель для иностранцев и советских тузов — настоящих хозяев этой страны, чтоб дать им понять, что не такой уж он глупенький.

Но пусть попробует какой-нибудь иностранец при нем хаять советскую власть на понятном ему, Коле, языке, и Коля тут же морду ему набьет. И даже не поленится, ответит, куда следует.

Для Коли Мухина, для его поколения русских, советская власть и Россия — понятие одно и то же. Пусть будет такая-рассякая, лживая, кровавая и трижды проклятая, но все же наша, и потому не вашего ума дело в нашу советскую жизнь встревать.

Коля честен. Возьмет в долг, даже будучи в стельку пьяным, не забудет, вернет в срок. Есть у него лишняя копейка — даст займы, только намеки. Идет с компанией выпить — норовит первым за всех уплатить.

И при этом Коля — самый, что ни на есть вор. У себя на работе тащит все, что под руку подвернется: болт — так болт, гайку — так гайку, кран, муфту, целую трубу, и продаст из-под полы за тройную цену или частным образом установит у заказчика и деньги положит себе в карман. А в магазине попробуй продавец обвесит его на сто грамм ветчинно-рубленной колбасы — такой устроит хипеш, все вверх дном перевернет: жулики, мол, советскую власть по кускам растаскиваете. И искренне так орет, книгу жалоб требует, еще немного — и зарыдает от стыда за то, что отдельные личности позорят высокое звание советского человека.

Поговори с Колей по душам — все понимает. Даже больше, чем надо. И что в стране бардак, на словах — одно, на деле — другое, что свободой и не пахнет, а вопим на весь мир, мол, самые мы демократические, самые прогрессивные, самые передовые. Смеется Коля над этим: вот шулера, вот мазурики, свернут когда-нибудь себе шею, поскользнутся на собственной лжи, как на блевотине. Но смеется беззлобно, даже с долей уважения за ловкость, с какой это все делается. Наши, мол, шулера, наши

мазурики. А что обманывают-то не кого-нибудь, а его лично. Колю Мухина, не хочет принимать в расчет, а только отмахивается.

Коля — за справедливость. Прочитает в газете: в Греции террор, — кровью нальется, жалеет греческий народ. Или услышит по радио, как негров в Америке угнетают, весь побледнеет, кулаки сожмет, хоть сейчас готов в бой за освобождение своих черных братьев.

Но вот наши, советские, прихлопнули в 68 году Чехословакию, когда этот шлимазл Дубчек хотел сделать социализм с человеческим лицом. Бросили на Прагу тысячи танков. Дубчеку коленом под зад, чехов — на колени.

В Москве, помню, кто поприличней, глаз от стыда поднять не мог. А спросил я Колю Мухина его мнение — правильно сделали, отвечает, так им, этим гадам-чехам, и надо. Ишь, чего надумали! Свободы им захотелось. А что, спрашиваю я невинно, ты против свободы? Нет, мотает головой. Зачем же ты чехов так поносишь? А за то я их, гадов, ненавижу, что против нас хвост подняли. Им, видишь ли, подавай свободу. А мы, что, лысые? Если свобода, так для всех. Понял? А нет — так и сиди в дерьме и не чирикай. Правильно с ними расправились — чтоб другим не завидно было.

Интеллигенцию Коля еле терпит. Сам он недоучка, как и я, не может спокойно видеть человека с дипломом. А если у того лицо не хамское, а тонкое, воспитанное — это для Коли, как красная тряпка для быка. Он ненавидит их руки без мозолей и белые необветренные лица без следов запоя на чистой коже.

Коля, совсем неглупый парень, свято верит, что все беды на Руси от интеллигентов. Что они, паразиты, живут за его счет, да еще норовят продать Россию за границу. Членов правительства и весь партийный аппарат он не любит с такой же силой, причисляя их, за отсутствием видимых признаков физического труда, к интеллигенции. Поэтому, когда я слышал в Америке или в Израиле, что вот, мол, скоро, недолго ждать осталось, русский народ покажет свой характер и освободится от коммунизма, мне хотелось кричать, как при пожаре:

— Идиоты! Болваны! Ни хрена вы не смыслите. Упаси Бог, чтобы русский народ показал свой характер. Тогда уж точно никто костей не соберет. На всем земном шаре.

Такой кровавой бани еще история не знала, какая начнется, если в России рухнет режим и хоть на неделю воцарится безвластие. В гражданскую войну, когда русский мужик в Бога верил, море невинной крови было пролито. А теперь? Без Бога, без святынь, да при нынешней технике. Выйдет Коля Мухин с гаечным ключом вместо кистеня и начнет крошить черепа, а другой Коля, поглупее, доберется до атомных ракет и нажмет спяну сразу на все кнопки. Вот будет компот! Так что лучше не надо. Не толкайте Колю Мухина на баррикады, не дразните Колю химерами. Путь будет, как есть.

Я, честно говоря, люблю Колю. У него душа — нараспашку, и не надо слишком часто в эту душу плевать. Ведь Коля — дитя. Он может захлебнуться от восторга, если увидит смелый, отчаянный поступок. Так было, когда начались еврейские дела с выездом в Израиль, письма за границу, обращения в Генеральную Ассамблею Объединенных Наций за поддержкой против — кого? — советского правительства, которое не только на эту Ассамблею, а на весь мир начхать хотело. Коля ошалел и проникся глубочайшим почтением ко всем без различия евреям. Теперь они для него были первыми людьми, в каждом он видел героя.

Заваливается как-то ко мне ночью, водкой разит от него:

— Аркадий, чинил я давеча краны у одного еврея. Ох, и правильный мужик попался! Что, спрашиваю, в Израиль, небось, лыжи наострил? А он на меня: вон отсюда, провокатор! Выставил меня и денег за работу не уплатил. Вот сука! Я не стал артачиться, ушел по-доброму. Я же не глупенький. Правильно поступил человек, конспирацию соблюдает.

Потом — ленинградский процесс. Судили евреев за то, что хотели самолет захватить и улететь в Израиль. Двоих к смертной казни приговорили. Коля Мухин не отлипал от радиоприемника, ловил каждое слово из Лондона или

Мюнхена, чтобы знать правду, что произошло на самом деле.

— Значит, не совсем в дерьме Россия, — заключил он, — если такие люди в ней еще водятся. Правда, они евреи. Но евреи теперь — вся надежда России, у своих-то, у славян, кишка тонка оказалась.

Окончательно был Коля добит, когда на суде в Ленинграде Сильва Залмансон, еврейская женщина, схлопотав десять лет лагерей, сказала в последнем слове русским судьям на древнееврейском языке:

— Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!

Коля зарыдал у транзистора и не стал дальше слушать, что говорил лондонский диктор.

— Пусть отсохнет моя правая рука, — повторял он потом при каждом удобном случае, — если я забуду тебя, Иерусалим. Ах, мать твою за ногу, какой великий народ! А мы, суки, их жидами называли! — и глаза его блестели от слез.

Так воспринимал все это Коля Мухин, потому что был зрителем. Для евреев же это были черные дни. После ленинградского процесса и двух смертных приговоров активисты-сионисты хвост поджали, носы повесили. Стало немного жутко: советская власть показала коготки.

Что уж говорить о простых смертных, вроде меня. Честно признаюсь, я ждал погромов. Мне в троллейбусе одна пьяная харя плюнула в рожу, прямо на мой еврейский нос. И хоть бы кто вступился. Наоборот, очень многие вслух выразили свое одобрение. Будь там Коля Мухин, мы бы вдвоем разнесли весь троллейбус, а одному заводиться — гиблое дело при моем сложении. Да еще с ранением в голову.

Мои клиенты, из евреев, которые до Ленинградского процесса очень бурно переболели сионизмом, излечились от этой болезни вмиг и теперь, садясь в мое кресло, больше не делились последними новостями «Голоса Израиля» и не выли от восторга при каждой удачной атаке «наших» против Ливана или Иордании. Они вжимались в

кресло, чтобы никому не мозолить глаза, и их еврейские носы, казалось, норовят утонуть в мыльной пене.

А радио из заграницы пугало предсказаниями, что советская власть расправится с евреями, как Бог с черепахой, и сионистскому движению в России предрекали близкий конец.

Даже Коля Мухин приуныл:

— Ах, собаки, ах, сучье племя! — сокрушался он с похмелья. — Ну, и сила же у них, если даже евреев смогли поставить на место. Все! Придушили! Поиграли, мол, и хватит. Запомни, Аркадий, цапаться с советской властью — это все равно, что плевать против ветра. Себе дороже. И твои евреи ничем не лучше других. Теперь сиди смиренно, молчи в тряпочку. Пошли, найдем кого-нибудь, сообразим на троих.

Была зима. Кажется, февраль. Конечно, февраль. Конец февраля. Москву пронизывал холодный ветер, а так как снегу было мало, то казалось, что вот-вот из тебя выдует твою промерзшую душу, пока пробежишь от метро до своей работы.

В тот день я работал без особой нагрузки. По случаю холодов число иностранцев в гостинице заметно убавилось. Колю никак не ожидал в гости, потому что он у меня стригся неделю назад, накануне банного дня, когда он заваливался в Сандуны от рассвета до ночной темноты и отпаривал, как он говорил, коросту за целый месяц.

Коля Мухин ворвался с морозу в наш парикмахерский салон, как буря, как смерч, и с порога позвал меня, добривавшего случайного клиента:

— Аркаша, на два слова!

Я глазами показываю, что, мол, занят, вот добрею этого плешивого — и тогда я ваш, Николай Иванович.

— Да брось ты его, мудака! — рявкнул Коля. — Не подохнет! Валяй за мной! Твоя судьба сегодня решается.

Тут уж и я не утерпел, спихнул клиента с недобритой щекой напарнику и вышел к Коле. И, стоя на красном мягком ковре под стопудовой хрустальной люстрой, он сказал мне такое, от чего у меня волосы моментально встали дыбом. Сообщил он мне потрясающую новость на

ухо и таким громовым шепотом, что не только швейцары у входа, но, я уверен, и пассажиры в троллейбусах на улице, слышали каждое слово со всеми знаками препинания.

В двух словах могу подытожить сказанное. В этот морозный день двадцать четыре московских еврея совершили неслыханную дерзость: под носом у Кремля, на Манежной площади, захватили Приемную Президиума Верховного Совета СССР — высшего органа советской власти, и, расположившись там, предъявили правительству ультиматум: не уйдут по своей воле до тех пор, пока не будет дано высочайшее разрешение всем евреям, кто этого пожелает, уехать в Израиль.

Это было неслыханно. Это было невероятно!

Коля все узнал из заграничной радиопередачи и уже побывал на Манежной площади — там все оцеплено милицией и КГБ в форме и в штатском, публику не подпускают. Даже иностранных корреспондентов гонят в шею. Тогда он забежал ко мне — поделиться новостью, благо я работаю рядом.

Как вы понимаете, работать в этот день я уже не мог. Не разумом, а всей утробой понимал, что в этот день решается и моя судьба. Хотя тогда еще о выезде в Израиль не помышлял. Я пошел к своему начальству и, сославшись на острые боли в животе, отпросился, будто бы для визита к врачу, а сам вместе с Колей сыпанул на Манежную площадь.

Вы думаете, только мы с Колей оказались такими умными? Слушать заграничное радио на русском языке категорически воспрещается под угрозой административного и даже судебного преследования. Это в СССР знает каждый. И тем не менее, вся Россия, у кого мозги хоть немножко работают, укрываясь от чужих глаз и ушей, липнет к своим транзисторам и портит себе нервную систему в неравной борьбе с советскими заглушающими станциями.

Сотни москвичей и, кстати сказать, в основном, неевреев, прогуливались с одинаковым безразличным видом вокруг Манежной площади, и их сгорающие от любопытства глаза выдавали своим мерцанием аккуратных

слушателей «Би-Би-Си» и «Голоса Израиля». Мы с Колей присоединились к ним, потому что ближе подойти было невозможно. Типы в штатском, не церемонясь, выпроваживали каждого, кто делал лишний шаг, и еще проверяли документы и делали какие-то выписки себе в книжечку.

Мы с Колей не лезли на рожон, а наблюдали издали, стараясь угадать, что творится за зеркальными окнами Приемной Президиума, хотя там были наглухо опущены шторы и морозный иней покрыл все стекло. Эти двадцать четыре еврея, обложенные сейчас, как волки охотниками, рисовались нам сказочными богатырями.

— Аркаша, вдумайся, — хрипел мне на ухо вконец очумевший Коля Мухин, — такого сроду не бывало за всю историю советской власти. Такое присниться не могло! Пойти в открытую против такой махины, которую весь мир боится. И кто? Двадцать четыре человека! И каких? Одни евреи! Нет, в голове не укладывается.

Он переводил дух и снова заводил:

— Их, конечно, сотрут в порошок. Скоро поволокут вон в те фургоны. Гляди, сколько «воронов» пригнали. Но дело, Аркаша, не в этом! Сам факт! Понял? Эти двадцать четыре всей России мозги прочистят. Мол, не так страшен черт, как его малюют. Ох, и дадут они пример советскому народу, ох, и пустят трещину по фасаду — век не залепить никаким цементом. Это, Аркаша, исторический день. Помяни мое слово, слово члена КПСС с 1942 года. Пойдем сообразим погреться.

Было холодно и ветрено. По Красной площади мело сухим снегом, и стук сапог часовых, сменявших почетный караул у черного Мавзолея Ленина, отдавался в сердце и даже в желудке. Становилось зябко и тошновато, словно голый стоишь и беззащитный. А уж что должны были чувствовать те двадцать четыре шальных, у меня в голове не укладывалось.

Мы бегали с Колей за угол и для сугреву принимали по сто грамм. И не хмелели. И снова возвращались на свой наблюдательный пункт, откуда видна вся Манежная площадь с кучами милиционеров и кагебистов и страшными крытыми автомобилями с большими радиоантеннами.

Чего долго рассказывать? Это был сумасшедший день. Мы мерзли час за часом, и водка уже не помогала, а никаких перемен не наступало. Власти ничего не предпринимали, должно быть, совещались весь день, как поступить.

Коля Мухин расценил это как победу забастовщиков, как начало никем не предвиденной капитуляции властей.

— Знаешь, Аркаша, — глубокомысленно заключил Коля Мухин. — Тут одно из двух. Как говорят в народе, или хрен дубовый, или дуб хреновый. Пошли, чего-нибудь примем.

К вечеру Коля все-таки хорошо набрался. Я слегка обморозил ноги. Но зато мы дождалась. Дождались результата и своими глазами видели тех самых героев, перед которыми отступило советское правительство.

В девять вечера забастовка кончилась. Сам президент Подгорный дал слово, что евреев начнут выпускать в Израиль и даже создадут специальную государственную комиссию, которая будет рассматривать каждую просьбу. А забастовщиков не только не тронули, но бережно, чуть не под белы ручки, проводили домой. Почти сотня одинаково одетых в штатское «мальчиков» окружила эти две дюжины евреев, и никого не подпускала к ним, пока не довела до станции метро.

Нам с Колей удалось поверх казенных шапок разглядеть кое-кого из этих ребят. Я был разочарован. Обычные еврейские лица. Даже несколько женщин. Средняя интеллигенция. Живущая на сухую зарплату. Неважно одетая. Таких в толпе не выделишь.

— Братцы! — крикнул им Коля через оцепление. — Так держать!

Я не успел оглянуться, как его скрутили «мальчики» в штатском и сунули в «черный ворон». Коля вернулся лишь на следующий день из вытрезвителя, схлопотав денежный штраф и уведомление в партийную организацию — обсудить недостойное поведение коммуниста Мухина Н. И.

Поэтому, когда в Колпачном переулке через денек-другой действительно заработала комиссия по выезду в Израиль, Коля не пошел со мной посмотреть, что там тво-

рится, а замаливал грехи перед Клавой, взяв на себя уборку комнаты и мест общего пользования. Я пошел один.

То, что я там увидел, превзошло все мои ожидания. Я-то полагал, что в этот день явятся лишь те двадцать четыре, и их примет комиссия, и даже, чем черт не шутит, отпустит с Богом в Израиль. Мне ведь хотелось, собственно говоря, их поближе рассмотреть, только и всего. Ради этого я и пошел.

В Колпачном переулке бушевала толпа евреев, осатанелая как перед ответственным футбольным матчем у ворот стадиона имени Ленина в Лужниках. Дамы в каракулевых шубах, мужчины с бобровыми воротниками. Бриллианты в ушах, дорогие перстни на пальцах. Откуда их столько набралось? Узнав по заграничному радио, что советская власть уступила, эти евреи выскребли из тайников пожелтевшие вызовы от израильской родни, которые прежде от детей своих хоронили, и, расхрабрившись, бросились на штурм ОВИРа, чтобы первыми предстать перед комиссией и без всяких страхов и усилий вырвать визу, пока наверху не передумали. Они бурлили и клокотали у подъезда, толкаясь локтями, потные и взъерошенные, словно в очереди за сахаром в голодные годы, и как ни старался я разглядеть в этом водовороте хоть одно лицо из тех двадцати четырех, что я запомнил на Манежной площади, это мне не удавалось.

А сверху, с лестничной площадки, милиционеры выкликали в комиссию по фамилиям именно их, забастовщиков, но каракулевые дамы с воплями «Куда лезешь?», «Ты кто такой?» никого не пропускали вперед. Те, кто проложил дорогу евреям, чуть не были затоптаны своими соплеменниками, учуявшими, что отныне нечего бояться и путь открыт. Я сам видел одного из них, узнал его по бородке, измятого, с вырванными на пальто пуговицами. Толпа выдавила его в сторону, и он стоял, растерянный и, ей-богу, испуганный, привалившись спиной к стене, и никак не мог взять дыхания.

Смех и грех. Не зря говорится, от великого до смешного — один шаг. Немного погодя я там же наблюдал

сцену, которую ни один писатель-юморист не сочинит, сколько бы ни напрягал мозги.

Маленького роста еврей, пониже меня, привел за руку свою высокую, на две головы выше жену, которая вдобавок ко всему была еще и беременна на последнем месяце, так что была втрое шире его. Держа ее за руку, как поводырь слона, маленький еврей, как и все вокруг, не в меру расхрабрившись, остановил проходившего с папкой документов начальника и громко, совершенно не желая сказать смешное, провозгласил на всю толпу:

— Если я сейчас же не получу визу в Израиль, то устрою на Красной площади самосожжение моей жены.

Так и сказал. Я запомнил дословно: «Устрою самосожжение моей жены».

Даже начальник ОВИРа, высокого звания офицер КГБ, не очень склонный к юмору, сумел оценить сказанное. Он не рассмеялся, а заржал, схватившись за живот и уронив папку с документами, отчего бумаги рассеялись по полу. Евреи же, которым в этот бурный день чувство юмора напроочь отказало, дружно бросились подбирать бумаги и услужливо, с заискивающими улыбками, подносили их начальнику, а он все еще хохотал и, как конь, мотал головой.

Кроме начальника, во всей толпе смеялся еще один человек. Это был я. Я смеялся не так громко, как он, но тоже от души. Потому что я обожаю смешные вещи, даже если случаются они в самом неподходящем месте.

Над Атлантическим океаном. Высота 30600 футов.

Дальше все покатило, как — ну, видали в кино? — снежная лавина. Будто всем евреям поголовно воткнули шило в задницу.

Подумать только, то в одном, то в другом городе потерявшие всякий страх евреи, заявляются в здания, которые раньше стороной обегали — в Президиум Верховного Со-

вета, в МВД, в Обком партии — рассаживаются по скамьям, а если нет скамей, так прямо на полу, и объявляют сбитым с толку милиционерам, что не уйдут, пока не получат положительный ответ на свои требования. Не просьбы, а требования! Учтите. Это в Советском-то Союзе, где еще совсем недавно любой бы лучше язык откусил, чем выговорить такое.

А особо ретивые рвались в Москву. Чтобы не где-нибудь, а только в столице, на виду у иностранцев, а значит, — и у всей мировой прессы, сунуть кукиш советской власти под нос.

Поездами, самолетами, в автобусах сотни евреев, побросав работу и свои семьи, перлись в Москву из Риги и Вильно, из Львова и Черновиц, из Киева и Одессы, из Кутаиси и Тбилиси. Забастовка за забастовкой. Голодные, полуголодные и совсем уж не голодные забастовки — с обильным приемом привезенной из дому снеди.

Советская власть растерялась. Приемную Президума Верховного Совета СССР на Манежной площади, возле Кремля, которую в особенности облюбовали евреи для забастовок, с перепугу закрыли на ремонт. И тогда возмутители спокойствия перекочевали на Центральный Телеграф, по соседству.

Власти отступали, как говорят военные, без заранее подготовленных позиций. Иногда огрызаясь. Но беззубо, вяло. Выхватят из толпы двоих-троих, упрячут за решетку, а сотням выдают визы и даже с облегчением выпроваживают за станцию Чоп.

Иногда, словно на нервной почве, милиция совершит налет на поезда, идущие в Москву, ворвется в самолеты, готовые подняться в воздух, и каждого пассажира, чей профиль вызвал бы понос у Геббельса, хватанет за шкирку и вышвырнет наружу. А вслед летят чемоданы и узлы.

Часто хватали невинных евреев, ехавших в Москву по служебным делам, выталкивали армян за подозрительное сходство с евреями.

А сотни и сотни обалдевших евреев с визами в зубах и детьми под мышкой покидали СССР. И другие сотни, увидев, что от смелости не умирают, рвались в Москву,

выпучив глаза, чтоб занять на Центральном Телеграфе место уехавших и тоже объявить забастовку. Пока советская власть не опомнилась, не натянула поводья, не вонзила шпоры в бока. А как эти шпоры вонзаются и как при этом трещат косточки, было памятно каждому. если только он окончательно не лишился ума на радостях.

На Центральном Телеграфе толпилось больше забастовщиков, чем нормальной публики, что нарушало работу этого учреждения, и милиция время от времени совершала профилактические облавы, очищая помещение от лиц с еврейской наружностью. Под жуткие вопли и стенания евреев всего мира, а также прогрессивной общестственности, как это называется в газетах. На бедную советскую власть сыпалось не меньше проклятий, чем в 1917 году. Погромщики! Наследники Гитлера! Геноцид! Где права человека? Улю-лю-лю! Ату его!

Становилось смешно. А если народ смеется, то, как известно, для властей это уже совсем не смешно.

Послушайте, и вы сами посмеетесь.

Это история об одном грузине, не грузинском еврее, а чистокровном грузине, кавказском человеке, чуть-чуть не угодившем по ошибке в Израиль. Для удобства рассказа назовем его, скажем, Вахтанг. Договорились? Значит, поехали.

Жил Вахтанг, горя не знал. Возил зимой с Кавказа в Москву цветы. Обыкновенные цветы. Продавал на Центральном рынке. Барыши получал такие, что даже Рокфеллеру не снились. На Кавказе, где и зимой лето, цена одному цветку от силы — копейка, в Москве самое меньшее — рубль. Прибыль — стократная. Рейс самолетом Тбилиси-Москва и обратно — шестьдесят рублей. Вахтанг упакует, спрессует в два чемодана сорок тысяч единиц цветов. Это сорок тысяч рублей. Состояние. Расходы — билет в два конца, да сотня-другая на девиц и рестораны. Ну, еще пару сот милиции да инспектору, чтобы не лезли не в свое дело. Все остальное — прибыль. Можно, скажу я вам, с ума сойти. Академику, лауреату Ленинской премии, который годами сушит свои мозги, пы-

таясь что-нибудь изобрести, не хватит фантазии вообразить такие деньги, сделанные в один день.

Для такого Вахтанга советская власть — малина, суший клад. Его никакими калачами за границу не выманишь. Тем более, в Израиль. Хотя, как утверждают знатоки, могила крупнейшего поэта Грузии, гордости грузинского народа — Шота Руставели, находится в одном из монастырей Иерусалима, и даже спекулянту цветами, должно быть, не грех поклониться праху своего национального гения.

Привез Вахтанг в Москву два чемодана с прессованными цветами, на Центральном рынке оживил их, распушил, водичкой сбрызнул и продал по рубчику штука. Набил один чемодан деньгами доверху — тоже спрессовать пришлось, чтоб влезли. Второй — пустой. Сдал чемодан в камеру хранения и сам по традиции в ресторан, а потом к девицам. Сразу три блондинки — натуральные, без краски. Комсомольского возраста. Поистощился на них Вахтанг. Не денежно, а сексуально. Видно, годы уже не те. Ослаб. Пока отсыпался да приходил в себя, прозевал свой рейс. Пришлось билет менять. А чтоб жена не умерла от страха, решив, что его, наконец, зацапала милиция, пошел на Центральный Телеграф дать ей успокоительную депешу.

Входит, смотрит вокруг и глазам не верит. Одни грузины сидят на скамейках. Вернее, грузинские евреи. А чем такие евреи отличаются от грузин, только они сами и понимают. На мой взгляд, ничем. Те же лица, те же усики, тот же кавказский акцент. И даже шапки, знаменитые тбилисские кепки-блины, размером с аэродром, потому что, если не самолет, то вертолет уж точно может совершить на них посадку, не боясь промахнуться, — и те у них на головах одни и те же.

Вахтанг, конечно, сразу отличил, что перед ним евреи. Дома, в Грузии, он их не очень жаловал, но здесь, в холодной, морозной Москве, грузинский еврей был для него земляком, а следовательно, самым желанным собеседником и собутыльником.

Был ранний час, и грузинские евреи на всех скамьях

Центрального Телеграфа приступили к завтраку: К солидной кавказской трапезе. Развязали узлы с пахучей снедью, заготовленной заботливыми женами в Кутаиси, откупорили бутылки с домашним вином. Запахи по Телеграфу пошли такие, что белобрысые телеграфистки за стеклянными окошечками дружно пустили обильную слюну, перепортив немалое количество телеграфных бланков.

Ни с одним из этих евреев Вахтанг не был лично знаком, но опознанный по шапке и усикам был радушно приглашен разделить скромное угощение. Вахтанг пил и ел, наслаждался беседой на родном языке и забыл даже, зачем сюда пришел. Забыл он также спросить грузинских евреев, по какому случаю они в таком большом числе расположились на Центральном Телеграфе.

Острые запахи кавказских специй довели до обморока одну московскую телеграфистку, которая на свою жалкую получку завтракала лишь стаканом кефира. Это дало милиции официальный повод вмешаться и очистить помещение от грузинских евреев. Подъехали автобусы-фургоны без окошек, всю кавказскую братию до единого, включая и Вахтанга, погрузили и увезли в участок.

Бедный Вахтанг никак не мог понять, за что задержан. Неужели за цветы? Ему и в голову не могло прийти, что он, сам того не ведая, оказался участником забастовки грузинских евреев, именно таким путем добивавшихся визы в Израиль. Об этой забастовке потом много писали в заграничной прессе. В отдельных газетах ее называли даже голодной забастовкой.

А писали о ней много потому, что оказалась она наиболее успешной. Разгневанное московское начальство всем задержанным в тот день на Телеграфе предложило ухать в Израиль без лишних формальностей, дав три дня на сборы.

Не еврей, а чистокровный грузин, Вахтанг тоже попал в этот список, и как ему удалось из этого дела выпутаться, я, честно говоря, не знаю. Может быть, за большую взятку он смог сохранить советское гражданство и право жительства, то есть прописку на родном Кавказе. А мо-

жет быть, кукует в Израиле и как о чудном сне вспоминает свой цветочный рай в Советском Союзе и проклинает русское начальство и грузинских евреев, что подвели под монастырь его, безобидного, аполитичного человека, торговавшего всего-навсего цветами.

Но вся история рассказывается не для того, чтобы оплакивать бедного Вахтанга. Как-нибудь выкрутится. Я хочу вам снова поведать о Коле Мухине. Как он чуть не влип. И причиной был я. Как всегда, без всякого умысла, сунувший свой нос, куда не надо. Должен вам честно сказать, что кто свяжется с таким шлимазлом, как я, удовольствия получит очень мало, а неприятностей — вагон.

Начнем с Коли. Как вы знаете, он не дурак выпить. А выпив, любит руками волю давать. Это он называет: погулять. Кончается это гулянье чаще всего в вытрезвителе. Там Колю знают. Он там свой человек, завсегда. Усмирят, окатят холодным душем, уложат в чистую постельку, и назавтра он, уже свежий как огурчик, дома. Пьет огуречный рассол и молча сносит нотации своей Клавы. До поры до времени. До очередного гулянья. И тогда отливаются кошке мышкены слезки. Коля так украсит ей физиономию, столько навесит фонарей — больше, чем при иллюминации на улице Горького в День Победы.

Что касается вытрезвителя, то с ним расчет всегда один и тот же. Двадцать пять рубчиков за обслуживание — присылают исполнительный лист по месту работы в бухгалтерию. Копию — в партийную организацию для обсуждения недостойного поведения члена КПСС Николая Ивановича Мухина.

Колю обсуждают на партийном собрании работников жилищно-эксплуатационной конторы, то есть, ЖЭКа. Журят, взывают к партийной совести, ссылаются на наши успехи в космосе и на происки врагов за рубежом. Коля слушает внимательно и каждый раз клянется, что это в последний раз. Ему ставят на вид с занесением в личное дело. А когда в личном деле не осталось свободного места в графе «взыскания», стали ставить на вид без занесения в личное дело. И обсуждали его поведение не

по каждой повестке из вытрезвителя, а когда соберется штук шесть-семь, тогда и скликали собрание, чтобы пропесочить Колю по совокупности проступков. Нячнутся с Колей по нескольким причинам. Первое, он русский, следовательно, национальный кадр. Второе, рабочий, а рабочих в партии и так мало, нужно беречь каждую единицу. К тому же, он в прошлом заслуженный боевой офицер и инвалид Отечественной войны. Он-то и в партию вступал перед боем и в заявлении писал: хочу умереть коммунистом. Коля не умер, остался жив, хотя и инвалидом. И соответственно до конца своих дней коммунистом. Разве можно такого исключать из партии? Бред.

Чтобы начать эту историю, я должен сразу сообщить: Коля Мухин по пьяному делу в очередной раз попал в вытрезвитель. А причем тут я, Аркадий Рубинчик, ни разу не выпивший больше своей нормы?

Тут-то и начинаются происшествия, одно другого нелепее. Как вы догадываетесь, меня нельзя причислить к мужественным евреям, и ни к каким забастовщикам и демонстрантам я и на версту не приближался. Хоть уже хотел ехать в Израиль и подал документы в ОВИР. Есть авангард и есть обоз. Так я был в обозе. Авангард бился и нес потери, а я ждал своей очереди тише воды, ниже травы.

Ждал уже довольно долго, а результата никакого. Люди пачками летят в Израиль, обо мне же будто забыли. Стал я нервничать. Это и подвело меня.

Встречает меня у ОВИРа, где я обычно околачивался, ожидая, что вот-вот вызовут получать визу, один чудак из тех, что все знают, и шепчет на ухо: мол, не там торчишь, жми скорее к Генеральному Прокурору, он сейчас принимает по этому вопросу, и туда очень много народу пошло. Я сдуру и подался.

Тут я должен сделать отступление. У каждого нормального советского человека, куда бы он ни шел, в кармане всегда лежит авоська. Сетка. Плетеная из суровых ниток хозяйственная сумка, которая в пустом виде ничего не весит и никакого места не занимает. Поэтому ее очень удобно таскать в кармане. Авоська — советское изобре-

ние, и изобретение гениальное. Я даже не знаю, как бы мы жили без авоськи. По какому бы делу ни шел, на работу, или с работы, глядь — выбросили колбасу, ты — в очередь, и с полной авоськой — домой. Или на другом углу — болгарские помидоры, ты со своей авоськой тут как тут. Или на французских цыплят наткнулся, авоська при тебе, значит, не явишься домой пустым.

Если прикинуться дурачком и специально пойти по Москве охотиться за каким-нибудь продуктом, то останешься без ног и чаще всего ничего не принесешь. В СССР всегда дефицит с продуктами. Это, как говорят остряки, временные трудности, ставшие постоянным фактором. Если что и появится на прилавке, то поди угадай заранее, в каком магазине, а пока угадаешь, товар и кончился.

Авоська — палочка-выручалочка, лучший друг и помощник советского человека. Всегда имей ее при себе, как солдат винтовку, и что-нибудь непременно домой притащишь.

В тот раз, когда я послушал этого болвана и поперся к прокуратуре, в кармане у меня, натурально, лежала комочком авоська. И, должен вам сказать, это очень потом отразилось на моей судьбе. Казалось бы, мелочь, авоська, а какой поворот фортуны!

По улице Горького, из Елисейевского магазина, народ тащит огурцы. Свежие огурцы в Москве зимой — это явление. Длинные такие, импортные, как оказалось, из Египта. Ближний Восток — как бы привет с исторической родины! Авоська в кармане, я, конечно, в магазин. Кто последний — я за вами.

Очередь была смешная, человек полста, не больше. Набрал я полную авоську этих здоровенных, как поленья, огурцов. Не только для себя. Для соседей тоже. Скажем, для Клавы, Колиной. Я же приличный человек, у меня есть чувство локтя. И Клава, если где что дают, про меня тоже не забывает.

Несу авоську, ее аж распирает от египетских огурцов. Встречный народ меня задерживает:

— Где дают?

Я только рукой показываю, некогда мне. И так задержался, могу опоздать в прокуратуру.

Подхожу, и сразу что-то мне показалось подозрительным. Много милиционеров ходит за оградой. На то и прокуратура, думаю, чтоб милиция вокруг паслась. Но вот почему так много во дворе автобусов без окошек? Черные вороны. Для перевозки арестантов.

Я уж хотел было от ворот — поворот, а милиционер меня за руку:

— Вы по какому делу, гражданин?

Я затрепыхался: да ничего, мол, просто так, товарищей своих разыскиваю.

А он в мою еврейскую физиономию глядит и очень ласково отвечает:

— Пройдете, уважаемый. Я вас к вашим товарищам провожу.

И поволок за ограду к автобусам. Одну мою руку он держит, в другой у меня авоська с огурцами.

— Пахомов! — кричит другому милиционеру. — Принимай еще одного сиониста. Кажись, последний. Можно ехать.

Впихнули меня в автобус, а там — одни евреи, друг на дружке как сельди. Захлопнули железную дверь, и мы поехали. Через всю матушку-Москву. До Волоколамского шоссе. В знаменитый вытрезвитель.

Вытряхнули нас во внутреннем дворике, построили по двое и повели в помещение. В дверях — заминка. Столкнулись с другими, с настоящими алкоголиками, православными, которых выводили. Там-то меня и увидел Коля Мухин.

— Аркаша! Какими судьбами? — кричит.

И ко мне, в нашу колонну.

Тут нас стали торопить, чтоб не задерживались, и Коля Мухин со всеми евреями попал в большой зал, где нас рассадили по скамьям.

А за столом, крытым зеленым сукном, сидит не милиция, а КГБ. От капитана и выше. Всё — влипли! Сухими из воды не уйти. Будут шить политическое дело.

Положил я авоську с огурцами на колени и совсем по-

ник. Даже не видел, что Коля Мухин вытащил один огурец, откусил и захрустел на весь зал.

За него первого и взялись.

— Эй, ты! — крикнули из-за стола с зеленым сукном. — Который огурец жрет! Встать! Подойти к столу!

Коля Мухин огрызок огурца положил на скамью возле меня и пошел к столу, слегка покачиваясь.

— Фамилия?

— Мухин, — отвечает Коля, — Николай Иванович.

— Николай Иванович Мухин? Довольно редкая фамилия для еврея, — усомнились за столом.

Коля обиделся.

— А это уж не вашего ума дело. Как назвали при рождении, так и с гордостью нршу.

— Молчать! — призвали его к порядку. — Год рождения? Социальное положение? Конечно, беспартийный?

— Почему же? Член КПСС с 1942 года.

— Засорили партийные ряды еврейской нечистью, — вздохнули мундиры за столом.

— Причем тут нация? — удивился Коля. — Мы коммунисты-интернационалисты. Между прочим, Карл Маркс, под портретом которого вы сидите, тоже был из евреев.

— Молчать! Не вступать в пререкания. Не видать тебе нашей партии, как своих ушей. Вычистим, чтоб духу не осталось.

— Это меня? — взревел Коля. — Фронтовика? Вы по каким тылам ошивались, когда я перед боем партийный билет получал?

— Осквернил ты, Мухин, опозорил свое прошлое. За чечевичную похлебку продался, за тридцать серебрянников.

— Кому это я продался? — не понял Коля.

— Будто сам не знаешь? Сионистам! Международному капиталу. Хочешь советскую Россию на фашистский Израиль променять!

— Я? — ахнул Коля. — Ды ты охренел!

За столом небольшое замешательство. Сразу тон сбавили.

— Погоди, погоди, Мухин, может, ты раздумал ехать в Израиль?

— А я и не думал.

— Значит, осознал, опомнился и раздумал?

— А на хрена он мне сдался, этот Израиль? — возмутился Коля. — Вы меня что, за дурака принимаете?

— Стой, Мухин, не горячись, — один майор выскочил к нему из-за стола и даже обнял. — Вот что, товарищ Мухин, ты — настоящий советский человек, и тебя международному сионизму не удалось поймать на крючок. Сорвалось у них, не вышло! — закричал он всем евреям в зале. — Берите пример с товарища Мухина, отрекитесь, пока не поздно, мы вас всех освободим и забудем, что было прежде. Скажи им, товарищ Мухин, пару слов.

Офицер дружески, совсем по-отечески, подтолкнул его к недоумевающим евреям на скамьях.

— А что я им могу сказать? — не понял Коля. — У них есть цель... На свою родину... В Израиль. Отчаянные ребята... Я их за это уважаю...

— Не то говоришь, — тронул его за плечо офицер.

Коля стряхнул его руку.

— А ты меня не учи, что говорить. Это при Сталине нам рот зажимали. Прошли ваши времена! Понял? Теперь коллективное руководство... без нарушений социалистической законности... И как русский человек... от всей души...

— Мухин! — оборвал его офицер. — Замолчи, сукин сын! А ну, покажи свой паспорт.

Коля лениво вытащил из-за пазухи мятую книжечку.

Офицер заглянул туда и швырнул на зеленое сукно остальным офицерам.

— Так ты же не еврей! — завопил он. — Чего сюда полез?

— Я и не говорил, что я еврей. Я — русский. Я тут ради дружка моего, ради Аркаши. Вот он, с огурцами.

— Вон отсюда, пьяная рожа! — закричал офицер, и я подумал, что его удар хватит. — Вон! Чтоб духу не было!

— Я — что? — пожал плечами Коля. — Я могу уйти. А как с Аркашей? Он ведь если пьет, то только норму...

— Оба — вон! — затопал ногами майор. — И тот карлик с огурцами — вон! Я вам покажу, как устраивать комедию из серьезного политического дела.

Хоть я и был обижен «карликом», но не стал ждать напоминания и, подхватив авоську с огурцами, бросился вслед за Колей к выходу.

За нашими спинами офицер орал на притихших евреев:

— Всех под суд! По всей строгости закона! Руки, ноги обломаем подлым предателям, сионистским выкорышам!

И тогда, уже в самых дверях, Коля повернулся на сто восемьдесят градусов и, сделав проникновенное лицо, как подобает герою, отчетливо и громко, чуть не со слезой произнес:

— Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!

За зеленым сукном онемели, вопивший майор умолк и застыл на одной ноге. Я вытолкал Колю в коридор и хлопнул дверь.

Только на улице, пробежав метров пятьсот, мы остановились. И в очень неплохом месте. Прямо у входа в закусочную Моспищеторга.

В честь счастливого избавления мы приняли по сто пятьдесят грамм с прицепом и закусили египетскими огурцами. Хорошие, должен вам сказать, огурцы. Можно свободно обойтись без другой закуски.

А те чудачки, что остались в вытрезвителе, получили по пятнадцать суток тюремного заключения. Они потом устроили в тюрьме голодовку протеста. И им в поддержку евреи Нью-Йорка и Лондона провели бурные демонстрации и даже побили окна в советском посольстве, что и было, по-моему, единственным фактом хулиганства во всей этой истории, которая началась с простой авоськи и египетских огурцов.

Вот сейчас кругом все галдят: сионисты, сионисты. А что это такое, я вас спрашиваю? С чем это едят?

В последние годы в России каждый еврей переболел этой болезнью. Это вроде кори. Никуда не спасешься. Надо переболеть, если ты еврей, или наполовину еврей, или хоть на четвертушку.

Сионисты в Москве были разные, любого калибра. На выбор. Начиная с совершенно чумных, что перли на рожон, чуть не на штыки, и потом прохлаждались в Потье, до тихих, краснеющих, которые скромно проползали в щель, пробитую первыми, и без особых хлопот приземлялись в Израиле.

Но я знал одного, у которого симптомы этой болезни были ни с чем несравнимы и такие, что не рассказать об этом, прямо грех.

Представьте себе семейную пару. Молодую, симпатичную. И вполне успевающую. Оба — критики. Нет, нет. Они не советскую власть критиковали и не бегали с кукишем в кармане. Наоборот. Даже члены партии.

Критик — это профессия. Они были музыкальные критики. Все советское они, когда критикуют, обязательно хвалят, а все заграничное, даже если хвалят, обязательно немножко покритикуют. Ничего не поделаешь. Такая профессия. Бывает и похуже. Например, санитар в психушке. Б-rrr!

Так они оба жили, беды не зная, занимались критикой и потихонечку накритиковали кооперативную квартиру в Доме композиторов на проспекте Мира, автомобиль «Жигули» и даже небольшую дачку на Московском водохранилище.

Как и у всех нормальных людей, у них была теща, которая, слава Богу, жила отдельно, но так любила свою единственную дочь, что навещала их ежедневно. Зять, конечно, не падал в обморок от счастья и однажды поставил тещу на место.

Я это к тому рассказываю, вы сами скоро убедитесь,

что отношения зятя и тещи потом оригинально проявились в сионизме, который рано или поздно должен был добраться и до этого гнездышка.

Зять был человек ассимилированный, и о еврействе вспоминал лишь, когда видел тещу у себя в гостях. И шерсть у него при этом становилась дыбом. Как полностью ассимилированный, он утратил еврейскую мягкость и в гневе допускал рукоприкладство, что сближало его с великим русским народом.

Теща дождалась своего часа.

Приходит как-то к ним в гости днем и застаёт такую картину. Зять лежит на диване, задрав ноги, и книгу читает, а ее единственная дочь ползает по паркету, натирая его шваброй. Теща взвыла с порога:

— Этого ли я ожидала на старости лет увидеть? Моя дочь, талантливейшая критикесса, как последняя рабыня, обслуживает это чудовище, хотя она кончила институт с отличием, а его еле вытянули за уши. Это он должен натирать паркет и целовать следы твои на нем.

Зять отложил книгу, спустил ноги с дивана и так спокойно-спокойно сказал:

— Правильно, мамаша.

И руку тянет к своей жене, а рука у него большая, тяжелая.

— Дай-ка швабру.

Жена не верит своим глазам — как пришибли мужа слова тещи, устыдился ведь и готов сам взяться за уборку.

Отдала она ему швабру. Он подкинул ее в своей руке, вроде бы взвесил, взял поудобней за конец палки и как огреет тещу! Та вывалилась на лестничную площадку, и, соседи потом божились, лбом, без рук открыла лифт и — испарилась.

В этой семье наступили мир да лад. На зависть всем соседям. Теща стала шелковой, заходить норовила пореже и всегда на цыпочках, на зятя смотрит, как еврей на царя, а он не часто, но позволяет ей себя обожать.

Эту идиллию погубил сионизм. Добрался и до них вирус. Зять заболел бурно, в тяжелой форме. Сутки дели-

лись на время до передачи «Голоса Израиля» и после. Этот «Голос» он слушал столько, сколько его передавали, и каждый раз со свирепым лицом требовал абсолютной тишины от окружающих. Он потерял аппетит, убавил в весе, глаза стали нехорошие, как у малохольного. Жена не знала, что делать, и с ужасом ждала, чем это кончится.

Теща же, всей душой возненавидев сионизм и Израиль, сломавшие жизнь такой прекрасной советской семьи, у себя дома, на другом конце Москвы, каждое утро чуть свет включала транзисторный приемник, специально для этого купленный, и слушала все тот же «Голос Израиля». Прежде политика ей была до лампочки, а слушать запрещенные заграничные передачи и вовсе не смела. А тут прилипала к приемнику, морщилась от радиопомех и ловила каждое слово из далекого Иерусалима.

И знаете почему? От утренней сводки у нее весь день зависел. Если передадут, что в ночной перестрелке на ливанской или иорданской границе, не дай Бог, убит или хотя бы ранен израильский солдат, она чернела с лица и погружалась в траур. Потому что в этот день она уже к дочери зайти не могла. Зять так бурно переживал каждую смерть в Израиле, что предстать пред его очами, означало для тещи почти верную гибель. Он бы все свое горе выместил на ней.

И она отсиживалась сутки, лишь по телефону робко общалась с дочерью, и обе разговаривали почти шепотом, как при покойнике в доме.

Зато если в следующей передаче Израиль не понес никаких потерь, да еще впридачу уничтожил с дюжину арабов, захватив большое количество оружия советского производства, теща расцветала и мчалась в гости к дочери. Зять встречал ее ласковый и умиротворенный, и она сидела там как на иголках, ожидая следующей передачи, в которой вдруг да опять что-нибудь стрясется на одной из израильских границ. И тогда надо будет уносить ноги от впавшего в тяжелую меланхолию зятя.

Этот сионист потерял половину своего веса, пока получил визу в Израиль. Вы думаете, он в Израиль поехал? В Нью-Йорке живет, в неплохой квартирке, со своей же-

ной, и оба неплохо освоили английский. Она лучше. Все же кончила институт с отличием. Как говорила теща. Кстати, теща скоро приедет к ним.

Об Израиле в этом доме не говорят. Как о веревке в доме повешенного. «Голос Израиля» ни по-английски, ни по-русски не слушают. У музыкального критика теперь новое увлечение. Изоляционизм. Как стопроцентный янки он считает, что нам — американцам — нечего вмешиваться в европейские дела. Пусть они там положат головы. И в Европе, и на своем вонючем Ближнем Востоке.

Я уже, кажется, говорил вам, что в Нью-Йорке мне привелось повстречать многих из своих бывших клиентов по Дворянскому гнезду в Москве. Сразу вижу удивление на вашем лице и готов спорить на любую сумму, что знаю, по какому случаю вы удивлены. Что это за Дворянское гнездо в советской Москве? Точно, угадал? Ну, вот видите. И где такое гнездо находится? И как это его большевики не разорили?

Чтобы вы не блуждали в потемках и напрасно не морочили себе голову, сразу открою секрет: большевикам совсем незачем было разорять это гнездо, потому что они сами его создали.

Вот вам его координаты. Ленинградский проспект в Москве знаете? Так это почти в конце его, между станциями метро «Динамо» и «Сокол», а еще точнее — сразу же за метро «Аэропорт». Кооперативные дома работников искусств. Привилегированная каста. Почти как генералы или ученые-атомщики. Их кирпичные дома первой категории, с лифтами и швейцарами в подъездах, как павлины среди облезлых кур, сбились в кучу, заняли круговую оборону в море сборно-панельных типовых домов хрущевской эры, где обитают рядовые москвичи, как скажем, мы с вами. Улицы Черняховского, Усиевича, Красноармейская, Часовая и называются Дворянским гнездом.

Здесь живет элита, здесь денег куры не клюют, здесь прислуге платят больше, чем инженеру на заводе.

Как вы помните, а мне тоже память не изменяет, революцию большевики в семнадцатом году сделали, посулив

народу уравнивать бедных с богатыми. Народ, конечно, обрадовался — думал всех бедных сделают богатыми, то есть, как поется в партийном гимне: «Кто был никем, тот станет всем». Вышло же наоборот — все стали бедными, на этом и уравнились.

И только очень немногие, может быть, меньше одного процента, при советской власти сказочно разбогатели. Но так, что и американскому бизнесмену не снилось. Ведь в СССР, если ты не под конем, а на коне, то тебе все в руки — и деньги, и власть. А власть в России дороже денег. Тут уж вообще все бесплатно. И государственные дачи, и закрытые санатории, и спецполиклиники, и пайки, и пакеты. И если раньше можно было капризно сказать: все есть, только птичьего молока не хватает, то теперь и эта жалоба отпала — кондитерская фабрика «Красный Октябрь» освоила выпуск конфет под названием «Птичье молоко».

Моя основная кормилица — левая клиентура — живет в Дворянском гнезде. Им — писателям, художникам, режиссерам, артистам, а также их женам — я делаю модные прически на дому и знаю каждый бугорок и впадину на их черепах не хуже, чем московский таксист знает все переулки на Арбате.

Поэтому слушайте меня внимательно, и все, что вас интересует насчет Дворянского гнезда, вы из первых рук узнаете. Для начала я должен сказать, что публика там живет смешанная, неоднородная в национальном смысле: муж — еврей, жена — русская, или наоборот. Дети, естественно, полукровки и, если верить народным приметам, талантливые и красивые. Насчет талантов мы убедимся, когда они подрастут, а насчет красоты — так в нашей коммунальной квартире, где крови не мешались, а если мешались, то лишь с алкоголем, дети выглядели не хуже.

Но зато богатыми они были всерьез. Где вы видели в России два легковых автомобиля в одной семье? Там и такое встречалось. Деньги, машины, дачи, туристские поездки. Одевались во все парижское, купленное у спекулянтов или в ансамбле «Березка».

Эти люди занимались искусством, а искусство в СССР партийное, художественная пропаганда. Поэтому они, если разобраться, были не режиссерами, не танцорами, не поэтами, не певцами. Они были гримёрами. Я их так называл. Каждый на свой лад, они накладывали грим на лицо советской власти, делали из нее куколку, аппетитную и съедобную. И делали это хорошо. Даже такие пройдохи, как я, иногда покупались и верили. За такую работу советская власть денег не жалела.

В Дворянском гнезде жили великие гримёры. Богатые, избалованные люди. Щеголяли соболями, духами «Шанель» и «Мицуки». Я же был при них придворным брадобреем. Обслуживал их на дому, работая сверхурочно, на лево.

Там же я познакомился с одним малым, у которого папашка был величайшим гримёром — не в переносном смысле, а в прямом. Он бальзамировал трупы вождей коммунизма, делал их лучше, чем при жизни, и сохранял в таком виде для будущих поколений, которым повезет дожить до самой последней, завершающей фазы строительства коммунизма.

Этот папашка Ленина в мавзолее делал. Сталин одарил его всеми почестями, сделал профессором, академиком, пух с него сдувал, чтобы он, не дай Бог, не умер раньше него. Кто же тогда самого Сталина будет бальзамировать? И этот академик, хоть и был евреем, пережил Сталина и хорошенько его набальзамировал в гробу и щеки нарумянил. И лежал великий вождь, благодаря таланту академика, совсем, как живой, рядом с не менее великим Лениным в одном Мавзолее, и Ленин по сравнению с ним выглядел не совсем, как совсем живой, потому что у него был большой стаж лежания в гробу, а бальзам, как известно, тоже не вечен.

Очень смешная история у него вышла, когда он накладывал грим, приводя в божеский вид усопшего великого вождя болгарского народа Георгия Димитрова. Я вам эту историю рассказываю не только потому, что она смешная, а еще и затем, чтобы показать, какая важная персона гример при советской власти.

Значит, командировали академика в Софию, и он там, пока вся Болгария в черном трауре на пустой мавзолеем глазеет, ковыряется не спеша в потрохах покойного вождя и готовит его в наилучшем виде для всенародного обозрения.

А сынок гримера, с которым я познакомился в Дворянском гнезде, в ту пору поступал в институт и, как еврей, был по всем статьям провален на экзаменах. Приемная комиссия дала промашку, не учла, кому придется сыном этот еврейский мальчик. Мальчик, не будь дурак, позвонил из Москвы в Софию и сказал своему еврейскому папе, что провалился на экзаменах по пятому пункту.

Папе, избалованному, прославленному гримеру, уникальному незаменимому специалисту, от негодования кровь ударила в голову. Он оттолкнул от себя еще только наполовину сделанный и слегка пованивавший труп вождя болгарского народа, вытер с пальцев следы его потрохов и сказал толпе его скорбящих соратников:

— Пальцем больше не коснись трупа, пока мой сын не будет принят в институт!

— Какой сын? Какой институт? — всполошились вожди поменьше, и когда узнали, в чем дело, тут же с Москвой связались.

Так и так, мол, есть опасность, что болгарский народ лишится возможности лицезреть образ любимого вождя, если в Москве не примут в институт еврейского мальчика.

Еврейского мальчика приняли через час и без экзаменов. Благоухающий труп вождя установили в мавзолее, и до сих пор болгарский народ в лицо видит, кого ему проклинать за подвалившее счастье.

Академик-гример отдал душу Богу не в тюрьме, а в своей собственной постели, и его похоронили как рядового смертного, не набальзамировав, потому что некому было выполнить этот труд. Покойник унес в могилу секреты своего ремесла.

Больше в России никого не бальзамируют. После Сталина очередных вождей выбрасывают на помойку еще до

того, как они умирают физически, и поэтому нет надобности в гримерах и мавзолеях.

И еще, если хотите знать, сын тоже покинул Россию. Я его встретил в Израиле. Ходил без работы и абсолютно лысым. С горя вырвал на себе волосы. С какого горя? Да что сдуру, за компанию, ринулся на историческую родину, где никто не помнит заслуг его отца, нету папиной персональной пенсии, шикарной квартиры в Дворянском гнезде и правительственной дачи в Барвихе.

Я его встретил, этого сынка, потом в Нью-Йорке. Не одинокого как перст, а в своей прежней компании, среди бывших обитателей Дворянского гнезда, рассеявшихся в дешевых квартирках еврейских кварталов Бронкса, Бруклина и Квинса.

Как будто ничего не произошло. Те же лица, даже одеты так же. Только не в Москве, а в Нью-Йорке. Снова подобрался тот самый букет. Но, правда, цветы поувяли и листочки пожухли. А запах не изменился. «Шанель» и «Мицуки». Слабоватый запах, чуть-чуть — видать, экономят духи. И палантины из соболей, и вечерние туалеты из золотистой парчи, прибывшие багажом из Москвы вместе с густым настоем нафталина.

Мне даже показалось, что все это во сне. И все кошмары улетучатся, как только я открою глаза. Я снова буду дома, в Москве. И как доказательство, те же лица, что примелькались мне в Дворянском гнезде. А я снова за тем же занятием: стригу, прихорашиваю моих милых дамочек, и они так же хлопочут и волнуются, словно боятся опоздать на премьеру модного фильма в Доме кино на Васильевской.

В бедном квартале Бруклина на пятом этаже без лифта одна из московских дамочек справляла свой день рождения. Грустный день. Когда о возрасте уже не упоминают и никакая косметическая штукатурка не в силах прикрыть дряблость шеи и мешочки под некогда красивыми глазами.

Гости съезжались на старых, третьего срока, вышедших из моды «Бьюиках» и «Паккардах», купленных по дешевке у негров. В Москве бы, конечно, недруги подави-

лись от зависти, а здесь такой автомобиль — клеймо непроходимой бедности.

Собиралось Дворянское гнездо, как в добрые старые времена. И для пущего правдоподобия Аркадий Рубинчик приглашен был пройтись ручкой мастера по прическам. Хоть я и не из их компании, а из окружения, из обслуги. Там меня на дни рождения не приглашали. Я делал свое дело до начала и покидал дом, как только появлялись гости. Как и положено служающему. Правда, с приличным гонораром в кошельке. Из которого не начисляются налоги и который неведом стукачам из ОБХСС.

Здесь я был наравне со всеми гостями. Потому что мы уравнились в доходах и в общественном положении. Я стал своим. И даже принес подарок. Но в то же время остался парикмахером и пришел заранее, чтобы подготовить хозяйку, а затем, по мере появления гостей, уводил дамочек в спальню и быстро и привычно приводил их в божеский вид.

Гонорара мне никто не уплатил. Нет, вру. Одна дала пять долларов. Остальные попросили в кредит. До лучших времен.

Я не стал спорить. Ведь мы породнились на общем несчастье. И стали вроде одной семьи. Жалкой, чахнувшей. Донашивающей свои норковые манто и собольи накидки.

Один из гостей, многолетний мой клиент, некогда прославивший меня на всю Москву песенкой о чудопарикмахере, так как я умудрялся из десяти волос на его голом черепе создавать видимость прически, и притом еще модной, тоже попросил его обработать до начала питания. На голове у него всего пять волос осталось, и пока я мудрил над ним, он жирным эстрадным голосом жаловался, тоскливо глядя в зеркало:

— Скажи мне, друг Аркадий, какая муха нас укусила? Каким надо быть ослом, чтоб уйти от такой кормушки, оставить теплое комфортабельное стойло?

В Москве он ходил в поэтах-песенниках, заколачивал страшные деньги и был кум королю. Напишет текст, вроде «Вышла Дуня на крыльцо, хлопнула в ладоши...» — и тысячи, тысячи годами капают за каждое исполнение

этой песни хоть на концерте, хоть в ресторане. Сказочно был богат.

— От такой кормушки... Из такого стойла... — хрипел он в зеркало.

Выехал он пустым. Власти, зная о его доходах, проследили, чтоб ничего не вывез. Поэт-песенник шмякнулся голыми ягодицами на нью-йоркскую мостовую. Тут его песни не ко двору. Языка не знает. Да и по-русски, в основном, матерится в рифму. Дошел до ручки. Стал пробавляться статейками в эмигрантских газетах. Кое-что я читал. Даже смешно. Например, как на празднике песни в каком-то провинциальном городе актер, загримированный как Ленин, под сильным газом, то есть, вдрабадан пьяный, забрался на броневик, в котором его должны были провезти перед публикой с вытянутой вперед рукой, и, когда броневик с вождем поравнялся с трибуной начальства, вождь мирового пролетариата качнулся и рухнул с башни в весеннюю грязь.

Что? Смешно? Я думаю, не очень. Все же Ленин — это Ленин, и устраивать из него смешочки не совсем благородно. Всю жизнь с пелёнок мы на него молились, себя юными ленинцами называли, что же теперь-то кукиш показывать? Несolidно.

Благо бы хоть платили за это прилично! Всего-навсего десять долларов. Товар неходкий. Кому тут дело до Ленина? Это у нас в России, привези он подобный материальчик про президента Форда или еще лучше — Голду Меир, ему бы не меньше тысячи отвалили. А тут? Десять долларов.

Да я бы, хоть и не поэт, а парикмахер, за такую сумму даже про свою тещу худого слова не сказал бы.

На этой самой вечеринке, после нескольких рюмок виски я вдруг обнаружил, что я, Аркадий Рубинчик, простой, самый простецкий человек, при моем маленьком росте стою на голову выше всей этой бывшей элиты, дамочек и господинчиков из Дворянского гнезда. У меня одного осталась гордость, называйте это как хотите, советского человека. Или вообще человека.

Все в этом доме были москвичи, мы орали, не стесня-

ясь, по-русски, пели песни и чувствовали себя в своей тарелке. Пока не пришел новый гость. Не наш брат-эмигрант. Американец. Американский еврей. Филантроп. Благодетель. Из тех, у кого бывает несварение желудка, если он публично не подаст милостыню на бедность.

Ввалился тип под шестьдесят, рожа тупая, самодовольная, сигара торчит толстая, большая, как бревно. Разговаривает, не вынимая ее изо рта. По всему видно, тянет на пару миллионов. Сел в кресло, нога на ногу, сигара-бревно торчит, как дымоходная труба. Знакомится, не вставая, протягивает для пожатия не руку, а палец. Указательный.

Наши москвичи вокруг него запрыгали, заблеяли. Да все по-английски, с жутким акцентом. Мистер, мистер. Русский язык испарился, все внимание на мистера.

Представили меня. Он не встал, протянул указательный палец. А я его как стукну по пальцу, да по-русски:

— Переведите ему. С хамами не знакомлюсь, с сидячей свиньей не здороваюсь.

Наши ошалели, зашикали на меня, оттащили в сторону, конечно, переводить не стали.

А он рокочет по-английски, будто камни во рту ворочает, очень доволен собой. Пуп земли, центр мироздания. Вся вечеринка вокруг него пляшет.

Я всю эту публику и в Москве высоко не ставил. Хоть и держали нос кверху, а внутри было пусто. Но уж чего-чего, а чувства собственного достоинства им было не занимать. На мир глядели, прищурясь, себя в обиду не давали. Имели свою гордость, унижаться не любили. И от щедрот своих кидали окружающим широко, не скупясь.

Тут их как наизнанку вывернуло. Холуйские позы, льстивые голоса. А сами щеголяют в московских соболях и золототканной парче. Похлеще здешней миллионерши.

Американский благодетель, видя всеобщее раболепие, захлопал в ладоши и велел спуститься вниз и притащить из багажника подарки — для всех!

Дамы завизжали, мужчины заготовали, как жеребцы, почуяв овес, и все повалили гурьбой вниз по лестнице.

Я остался один. И благодетель в кресле, с бревном в зу-

бах. Он меня спросил, очевидно, чего это я не бегу со всеми хватать подарки, я ему ответил по-русски, послав по популярному в России адресу. Руки у меня чесались закатать ему промеж свиных глаз, чтоб выплюнул сигару на ковер, а заодно и зубы. Вставные.

Но с воплями и задыхаясь от бега по лестнице, ввалилась гоп-компания в соболях и парче, волоча картонные ящики из-под пива, набитые каким-то тряпьем. Столпились, толкаясь, выставили зады и давай рыться в этом дерьме, хватая, что попадет под руку.

Благодетель наскреб эту рухлядь у своих соседей, все, что люди собирались выбросить да поленились дойти до помойки.

Сразу оговорюсь. Я далеко не кристальный человек. И не всегда умел за себя постоять, когда меня обижали. Но до такого унижения я никогда не доходил.

Они рвали друг у друга старые застиранные рубашки с номерами из прачечной и с выцветшей фамилией владельца на воротниках, допотопные пиджаки с лоснящимися локтями, съёженные туфли на немодных каблуках.

Поэт-песенник, которому я умудрился из пяти волос сделать зачес на лысине, напялил на себя черный фрак с фалдами, отороченными по краям атласной лентой, и подскочил ко мне, ища поддержки:

— Ну, что, Аркадий, неплохо? Как на меня шит.

— Зачем это тебе? Куда ты в нем сунешься?

— А на прием! Вдруг пригласят на великосветский прием?

— Тогда у тебя не хватает до полного комплекта...

— Чего?

— Полотенца. Перекинуть через руку. Потому что на приемах тебе бывать только лакеем. Не больше!

И я закричал, затопал ногами, отогнав кудахтающих дам от ящиков с барахлом:

— Стыдитесь, суки! Я же вас за людей держал. Зачем вы этому гаду доставляете удовольствие? Зачем унижаетесь, как черви? Что, вам жрать нечего? Ходите раздетыми? На дармовшинку потянуло, хапаете, что попало?

Завтра дерьмо будете с земли поднимать и в рот совать, не отряхнув пыли. Потому что бесплатно.

Дамы стояли, вылупив глаза и прижимая к грудям куски тряпья из ящичков. Ни одна не отважилась мне ответить. Видать, угар проходил и становилось стыдно.

Молчал в своем кресле и благодетель. Сопел и жевал свое бревно. Тоже почуял что-то: могут по шее на-костылять.

А я заплакал. Как баба. В голос, со всхлипами. Со мной бывает, когда я перепью. И выскочил на лестницу, скатился вниз и долго бежал по пустой, без единого прохожего улице. Потому что в Нью-Йорке только ненормальный может отважиться в ночной час прогуляться на свежем воздухе. Или придурок. Или иммигрант из Москвы.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Доброе утро! Ну, как спали? Уже светло за иллюминатором. Интересно, мы еще над океаном, или внизу уже Европа? Кстати, я не храпел? Со мной это бывает. Поэтому на всякий случай прошу прощения.

Все же, вы меня простите, я абсолютно уверен, что мы с вами где-то встречались. До Москвы есть время, еще вспомню. А пока нам несут завтрак, снова проветрим пасть. Если не возражаете, кое-что из моей жизни в Израиле. Лады?

Доводилось ли вам, уважаемый, слышать такое красивое, благозвучное и пахучее словечко: абсорбция. А-б-с-о-р-б-ц-и-я! Не доводилось? Тогда вам очень крупно повезло, и вы, без всякого сомнения, родились в сорочке.

Я с этой абсорбцией познакомился в Израиле и могу вам авторитетно сказать: ее придумали злейшие враги еврейского народа, те, кто написали «Протоколы сионских мудрецов» или даже хуже — кто собирался в Нюрнберге окончательно решить еврейский вопрос. Это слово

ласкает мое ухо так же, как, скажем, «геноцид» или «канибализм».

В Израиле есть целое Министерство абсорбции. Оно только тем и занимается, что превращает евреев в израильтян. Вольных, необъезженных евреев вылавливают из диаспоры, как диких мустангов из прерий, и пропускают через машину абсорбции, чтобы довести их до местной кондиции. Можете себе представить, какой стоит стон и гвалт, когда несчастного еврея растягивают, если он короче стандарта, и обрубают все лишнее, если он не укладывается в израильскую мерку.

Я никогда не бывал на металлургическом заводе, но в кино видал, как прокатывают железо, и делают из бесформенной болванки рельс или балку. Знаете, как это делается?

Кусок железа доводят до белого каления и втискивают между вертящихся валков. Таких валков множество. И этот несчастный кусок железа летает от вала к валку. Его мнут, давят, сжимают, вытягивают, пинают в хвост и гриву, и когда уже видно, что скоро от него ничего не останется, машина выплевывает его, и он падает на землю совсем посиневший и бездыханный.

Так поступают с железом. И получают рельс или балку.

Абсорбция — это кое-что похлеще, чем прокатный стан. Из вас не только все кишки выпустят, обломают руки и ноги, но еще хорошенько плюнут в рожу и скажут, что так и было.

Для несчастного еврея, угодившего в зубья этой машины, все, что я говорил про железо — цветочки. Только половина абсорбции. Вытянув из него с божьей помощью рельс, его выплевывают, голубчика, к чертовой матери. Когда он совсем заржавеет, спохватываются и снова пропускают через прокатный стан, но уже без нагрева, в холодном виде, чтобы возиться поменьше. Ржавый рельс не выдерживает и рассыпается в крошки. И тогда умельцы из Министерства абсорбции разводят руками:

— Вот видите, какой негодный человеческий материал к нам поступает из диаспоры? Мусор! Отбросы! Недостойны они своей исторической родины!

Что такое бюрократия, вы, конечно, знаете. В России, слава Богу, этого добра навалом. Есть и немецкая бюрократия, есть американская. Везде свои бюрократы. И должно быть, не обойтись без них, как не обойтись без полиции. Людям от этого не совсем удобно, но порядку все же больше. Это, знаете ли, как большая машина, в которой, скажем, сто колес, больших и маленьких, сцеплены друг с другом и вертятся в указанном раз и навсегда направлении. Ваше дело попадает сначала на первое колесо, повернется вместе с ним и передается на второе, потом на третье — и так до сотого. После сотого колеса — считайте, дело сделано. И пусть у вас больше голова не болит.

Конечно, иное дело можно решить, пропустив его через два-три колеса. Но тут этот номер не проходит. Только все сто колес. И ни одним меньше. Это и есть бюрократия. Налаженная машина. Ничего в ней менять нельзя. Работает медленно, но верно.

Сказать по совести, после того, как я побывал на исторической родине, я готов стать на колени перед этой бюрократической машиной, которую раньше мы ругали на чем свет стоит, и целовать каждое из ее колес.

Почему? Потому что я увидел, что такое израильская бюрократия. Все познается в сравнении.

В Израиле достигнут потолок бюрократии. Хотя по сути — та же самая машина, что и во всем мире. И столько же колес, ни больше, ни меньше.

Но с одной разницей. Колеса эти не сцеплены друг с другом, и каждое вертится само по себе. Запустили дело в первое колесо, и будет твое дело мотаться до скончания века, если не стоять рядом и с проклятиями и воплями не проталкивать его от колеса к колесу, до последнего, сотого.

Я, грешным делом, в прежней жизни думал, что только большевики умеют любое дело довести до полного абсурда. Теперь я вам могу сказать, что по сравнению с моими соплеменниками на исторической родине они просто дети. Их хочется гладить по головке и трепать по румяным щечкам, как невинных крошек.

Израильская бюрократия — это вроде сифилиса, от ко-

торого нет ни лечения, ни спасения. И народ этой страны, всеми признанный, как мудрейший из мудрых, даже не ищет лечения, а наоборот — не без гордости сообщает встречному и поперечному: у нас, мол, есть своя бюрократия. Своя собственная. И это звучит так же дико, как если хвастать на всех перекрестках семейным сифилисом в последней стадии.

У меня до сих пор перед глазами торчит рожа израильского пакида. Пакид, извините за выражение, это на иврите — чиновник. Но, по-моему, я в иврите не силен, пакид — нечто похуже.

Сидит за письменным столом этакий дуб с мутным сонным взором и сладко-сладко ковыряет указательным пальцем в недрах своего еврейского носа, а ты сидишь перед ним на краешке стула, ерзаешь от нетерпения, сучишь ножками и тоже впадаешь в сонную одурь, заражаешься от него и уже следишь, как и он, за его пальцем, вынутым, наконец, из носа. Оба смотрите на кончик его пальца, на то, что извлечено оттуда, из недр. Потом палец вновь углубляется в ноздрю.

И если ты ненароком нарушишь это мирное занятие, отвлечешь, не дай Бог, тогда он разинет пасть, и на тебя будет вылито ведро помоев на прекрасном, сладкозвучном языке «Песни песней». И язык этот покажется крепче русского, а как известно, крепче русского нет на земле языков.

Чтобы вам было все ясно, я приведу один пример, ничем особенно не примечательный, но он лучше всяких цифр и кошмарных историй осветит вам суть дела. Ведь то, что океан соленый, можно определить по одному глотку океанской воды, и для этого совсем не обязательно выпить весь океан.

Жил в Москве один писатель. Естественно, мой клиент. Он проживал в том же Дворянском гнезде, где и остальные деятели искусств, но к нему у меня было отношение почтительное, потому что он был талант. А талант, общеизвестно, как деньги. Если есть, так есть, а если нет, то хоть «караул!» кричи — нету. У него было и то, и другое: и талант, и деньги. А также слава. И прекрасное по-

ложение. И в довершение ко всему, красивая, и что не так уж часто встречается, умная и благородная жена. И дети, не в пример нынешним — серьезные, послушные, не курят, не пьют, денег у родителей не вымогают.

Спрашивается, что еще нужно человеку для полного счастья?

Этому человеку взбрело в голову, что ему не достает одного: быть еврейским национальным писателем. Зачем? Почему? И, наконец, где? В Советском Союзе?

От добра добра не ищут. Так, кажется, гласит народная мудрость?

И к тому же он считался одним из лучших русских писателей. Я имею в виду не Пушкина и Гоголя, а современных. О нем писали в газетах, что у него кристальный русский язык, что он глубоко проник в психологию русского человека. А главное, он был честным писателем, в отличие от других из Дворянского гнезда. Запретных тем не трогал, чтоб не кривить душой и не врать, но уж если писал о чем-нибудь, то, как говорится, пальчики оближешь. В библиотеках его книги зачитывали буквально до дыр. А начальство его по праздникам представляло к наградам, так что орденов у него было не меньше, чем у иного генерала.

И вот, в таком человеке в период всеобщего сумасшествия проснулся еврей. Не хочу, мол, больше быть русским писателем. Хочу воспеть мой собственный народ. Чем я хуже чукчи или, скажем, киргиза? И стал писать еврейские рассказы.

Вы же понимаете... Вы свои уши без зеркала можете увидеть? Так он увидел свои рассказы напечатанными. Во всех издательствах — от ворот поворот.

И пошли его рассказы гулять по Москве в рукописях. То, что называется «Самиздат». Люди ими зачитывались. Друг у дружки вырывали страницы.

Должен признаться, мне посчастливилось подержать в руках два рассказа, и потом всю ночь не мог спать — так колотилось сердце от волнения. Первый класс! Прима! В приличных государствах таким писателям при жизни ставят памятник.

А вот в Москве за такое творчество ставят клизму. Большую! По самые гланды. Его вообще перестали печатать, даже то, что он раньше, в свой «русский» период писал. Из Союза писателей — ногой под зад. Имя велели не упоминать, вычеркнули даже из справочников. Как говорится, предали забвению, похоронили заживо.

Стал он тогда требовать выезда в Израиль. То есть, на историческую родину. Человек он был с размахом и такую поднял вокруг себя волну, что власти покоя лишились. Его письма У Тану — был тогда такой чудак. Генеральный Секретарь ООН в городе Нью-Йорке, сам родом из Бирмы, и все евреи России писали ему, умоляя помочь уехать в Израиль, пока он не умер от рака, — письма нашего писателя У Тану были самыми потрясающими и душераздирающими. Их цитировали в газетах, читали на митингах, давясь слезами, они доводили до истерики мировую общественность... и КГБ.

Ох, и дали же ему прикурить в Москве! Сажали в тюрьму, запугивали анонимными письмами, штатские хулиганы в одинаковых кепках, полученных со склада КГБ, ловили его в подъезде собственного дома и били смертным боем.

Он был человеком не робкого десятка — в войну летал пилотом на истребителе. Немцы его сбили в воздушном бою над Одессой, он раненый выпрыгнул с парашютом. Из уважения к его храбрости они его не расстреляли, а наоборот, оказали почести, положили в военный госпиталь и вставили стеклянный глаз вместо того, который остался в кабине самолета. Этот глаз он не вынимал потом всю жизнь и носил поверх него черную бархатную ленту, которая наискось лежала на лице, делая его похожим на лорда Байрона, как уверяли дамы из Дворянского гнезда. Я с Байроном лично не был знаком и делать сравнения не решаюсь.

Не сумев сломить его, власти вышвырнули писателя из СССР, и он оставил по себе хорошую память в Москве, раздав всем евреям свое имущество и деньги, которые у него водились в немалых количествах. Уехал в желанный Израиль гол, как сокол, почти в чем мать родила. В аэро-

порту ему устроили проверочку, даже в задний проход заглянули, не пытается ли он вывезти хоть страничку из своих ненапечатанных рукописей.

Дальше история короткая и печальная. В Израиле он мужественно нищенствовал, не смея опуститься до просьб о вспомоществовании. И денно и ночью писал. Вздохнул. Обретя свободу, старался излить на бумагу все, что бурлило годами в его еврейской душе.

Известно, когда пишешь, денег не зарабатываешь. Только изводишь. На бумагу и чернила. Да на пищу. Самую скудную, чтоб не помереть с голоду до завершения своего труда.

Он был писатель хороший и требовательный к себе. Писал и перечеркивал, снова писал и правил.

Наконец, его первый рассказ — замечательный рассказ, скажу я вам, кто-то по доброте душевной перевел на иврит, и писателя напечатали в журнале.

Это был праздник для писателя. Первый и последний на долгожданной исторической родине.

Потом наступили чудеса. Оказалось, что журнал гонорар не платит. И вообще в Израиле с этим делом туго. Писательством занимаются после работы для развлечения, а средства на жизнь и пропитание зарабатывают, просиживая штаны в канцеляриях или вкалывая рабочим. А чтоб напечататься, автор должен порой сам заплатить издателю.

Свобода! Нет цензуры, зато нет и гонорара. А заодно и хорошей литературы. После тяжелого рабочего дня, в промежутке между ужином и сном, шедевры редко кому удавались. Нашему писателю, чтоб довести до блеска свое детище, требовалось сидеть, не разгибаясь, за письменным столом с утра до ночи. Неделями и месяцами.

Его карта была бита. Мечты создать еврейское национальное искусство, ради чего он отказался от всех благ прежней жизни, лопнули, как мыльный пузырь. Еврейскому государству не понадобились собственные барды. Бардам предложили переквалифицироваться в счетоводы.

Он бы снес этот удар — сказывалась российская закалка. И стал бы со временем мрачным бухгалтером, и жил

бы как еврей среди евреев, немножко одичал бы и даже потихоньку стал бы ковырять в носу, как все остальные, и кто знает? — может быть, нашел бы в этом свое счастье.

Но... Кто-то проявил еврейскую чуткость и заботу, и ему прислали на еще незнакомом языке иврит официальное письмо, где извещали, что поскольку журнал не может выплатить гонорар, то ему, как новичку в стране, Министерство абсорбции возместит эту сумму в виде безвозмездного пособия, как неимущему. То есть, милостыню предложили. Унизительную для любого нормального человека. Тем более для знаменитости.

Он взревел от обиды и порвал это оскорбительное письмо на клочки. Но машина абсорбции заработала. Последовало новое письмо, затем еще. В доме — ни гроша. Голод, как известно, не тетка. Жена и дети смотрят на него с мольбой. И он заколебался. Даже стал находить оправдание. Хоть и дают ему деньги как милостыню, но ведь он их честно заработал, написав и опубликовав свое произведение. К чему формальности? Надо смотреть в корень.

Он поехал в Министерство абсорбции. Через пыльный и знойный Иерусалим, в душном переполненном автобусе. За последние двадцать лет он даже забыл, что существуют автобусы: во-первых, в Москве у него был свой автомобиль, а во-вторых, такси при его доходах было вполне доступно и писателю, и всем его домочадцам.

Тут его ждал первый удар. Долго и унижительно продержали его в очереди, потом долго и лениво рылись в пухлых папках с бумагами, наконец, вписали жалкую сумму прописью в его удостоверение, а денег не дали, сказав, чтобы ждал их через месяц, не раньше.

Он вернулся пристукнутый.

Через два месяца его вызвали за деньгами. В том же автобусе, потев и шалея от духоты, он добрался до министерства и, высунув, как пес от жары, язык, дополз до нужного этажа и постучал в указанную в письме дверь.

Денег ему и на сей раз не дали, и даже не извинились за то, что зря побеспокоили немолодого человека. Он ушел в холодном бешенстве, и прохожие слышали, как он вслух

матерился, хотя до того ни разу не был уличен в подобном занятии.

Через месяц его снова вызвали письмом, и меланхоличный пакид снова сказал, что денег нет, и снова не извинился. Наш писатель удалился в состоянии полной прострации, и прохожие слышали, как он тихо скулил, совсем по-щенячьи, не замечая устремленных на него недоуменных взглядов.

Когда в третий раз пришло письмо с просьбой явиться за деньгами, он наотрез отказался, но жена и дети умолили его сходить в последний раз. И этот раз был действительно последним.

Денег ему, как вы догадываетесь, опять же не дали. И когда он взвился и закричал, почему его гоняют взад и вперед без толку и даже не находят нужным извиниться, удивленный пакид вынул палец из носа и философски спросил:

— А вы кто, граф Толстой?

— Да! — закричал писатель. — Я — граф Толстой!

Вырвал из-под бархатной ленточки свой стеклянный глаз и запустил в пакида.

Пакид взвыл. Прибежала полиция. Писатель брыкался, ему ломали руки. Повязка сползла на шею, и он тарасил на толпу зияющую, как открытая рана, глазицу.

— Бей жидов, спасай Россию! — визжал знаменитый писатель, гордость еврейской литературы, а дюжие еврейские полисмены волокли его по ступеням вниз и пинали под ребра носками казенных ботинок.

Теперь он прочно засел в сумасшедшем доме. Врачи не ручаются, что когда-нибудь его удастся оттуда выписать. Глубокое умопомешательство.

Я его дважды навестил. По старой памяти. Все же бывший клиент. И неплохой писатель. А такие на улице не валяются.

В первый раз он меня узнал и показал написанное им здесь письмо У Тану, в котором просит разрешить ему выехать с исторической родины на доисторическую. Правда, где находится таковая, не указано.

Он собирал по всему сумасшедшему дому, как в былые

дни в Москве, подписи под этим письмом-обращением. Идиоты охотно расписывались на иврите и на десятке других языков. А он оглядывался, проявлял бдительность, опасаясь происков советского КГБ и израильского Шин-бета.

Я, как мог, старался успокоить его, объяснил, что У Тан давно умер от рака, не выдержав потока еврейских писем из СССР, и что теперь на его месте Курт Вальдхайм, австриец, воевавший в свое время в немецкой армии против СССР, и к евреям, на мой взгляд, особой симпатии не питающий.

Он ничего не понял и в ответ гаркнул, как на митинге перед тысячной толпой:

— Отпусти народ мой! Кахол ве лаван!¹

И бодро затянул:

Утро красит нежным цветом

Стены древнего Кремля...

Во второй раз меня к нему не пустили: он был переведен к буйным, и, увидев меня во дворе, просунул через решетку руку с нечистым носовым платком, замахал им и визгливо крикнул:

— Свободу узникам Сиона!

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Иногда мне приходят в голову забавные мысли. Вам тоже? Каждого человека, даже самого никчемного, иногда посещают такие мысли.

Обратили ли вы внимание, что в Советском Союзе, где больше ста народов и народностей живут дружной социалистической семьей и готовы друг друга с кашей съесть, произошло любопытное явление. За последние полвека любой самой маленькой народности создали по указанию

¹ Голубое и белое (иврит) — цвета израильского флага. (Примечание автора.)

сверху свою культуру. Как говорится, национальную по форме и социалистическую по содержанию.

Живет себе племя где-нибудь в тайге, еще с деревьев не спустилось. Только-только научилось огонь высекать. Человек триста, считая ездовых собак. Культуры никакой, естественно. Непорядок, говорят большевики. Это проклятый царизм держал их в невежестве и темноте. Для того мы и совершили революцию, чтобы в каждый медвежий угол принести свет культуры. Создать культуру! Письменность, алфавит, песни и былины, стихи и первый роман. И непременно чтоб был ансамбль песни и пляски.

Посылают к этому племени парочку ученых евреев. Почему евреев, я потом объясню. Добираются туда евреи по суше, по воде и по воздуху, поселяются вместе с племенем, предварительно сделав уколы во все места против сифилиса, туберкулеза, трахомы и чего только ни хотите.

Живут евреи среди этого племени, едят сырую рыбу, мясо рвут вставными зубами, пьют теплую кровь убитых зверей и, чтоб не обидеть хозяев, не нарушают вековых обычаев и спят с их женами и дочерьми. Прислушиваются, принимают и начинают создавать культуру. Алфавит составляют, как правило, на базе русского. Бедный немногословный язык туземцев обогащают такими словечками, как колхоз, совхоз, кооператив, коллектив, социализм, капитализм, оппортунизм.

Потом сотворяют песни. Сначала рифмуют по-русски, и этот текст станет со временем известен всей стране как жемчужина национального фольклора, а затем переводят на язык племени — тят-ляп, на скорую руку. Кто это будет слушать в оригинале? Ведь все племя занято охотой и рыбной ловлей. И еще много поколений пройдет, пока таежные жители допрут, что где-то в России случилась революция, и лучшие друзья порабощенных народов — коммунисты — не жалеют сил и денег, чтоб дать им, окаянным, культуру. А пока что сидит у огня ослепший от трахомы старик с проваленным носом, дергает корявым пальцем бычью жилу, натянутую на палку, и звуки испускает такие, что ездовые собаки не выдерживают

и начинают выть на луну. Этим культурные запросы племени вполне удовлетворяются.

У малых, забитых при царизме народов такие исполнители называются, я точно не помню, как — что-то вроде ашуг-акын или шаман-шайтан. Нет, вру. Шаман шайтан — это из другой оперы.

Одного такого ашуга я сам лицезрел. В Москве. Срежь бела дня. И не в зверинце, а в Дворянском гнезде. В шубе до пят, мехом наружу, в лисьем малахае на маленькой безносой голове. В руках палка с бычьей жилой. Ну, точь-в-точь «идолище поганое»...

Его переводчик пригласил меня на дом — постричь гостя перед тем, как его в Кремле показывать станут. Легко сказать — постричь. В племени знаменитого акына был железный порядок: мыться дважды в жизни — при рождении и смерти. Наш гость, следовательно, использовал свое право лишь наполовину. Поэтому его сначала пришлось хорошенько отмыть и отпарить. Чтоб ножницы не калечить, на волосы гостя извели ведро шампуня и два бруска хозяйственного мыла.

Нарумянили, насурьмили, одеколоном густо смочили, чтоб убавить таежного духу, и повезли в Кремль — петь правительству и высокую награду получать. Усадили в автомобиль, а он с перепугу стал плевать и все — в ветровое стекло, потому что до того со стеклом дела не имел и полагал, что перед ним пусто, воздух, открытое пространство.

Его переводчик, мой клиент, выдумал этого ашуга, сотворил из ничего, писал все сам, выдавая за перевод с оригинала. И огребал за это денег несметное количество. А ашугу — слава на весь СССР. Ему ордена и медали. Его — в пример советской национальной политики. На севере ему юрту пожаловали. Из синтетического волокна. И он чуть не умер, схватив воспаление легких. Его имя треплют в газетах, прожужжали уши по радио, школьники учат его поэмы наизусть и получают двойки, заблудившись в этих стихах, как в дремучей тайге. Артисты читают его стихи с эстрады, выискивают даже особые интонации того племени и удостаиваются высоких званий.

Кандидаты наук уже докторские диссертации пишут.

Машина работает на полный ход. Мой знакомый переводчик-еврей клепает за него стихи, поэмы, былины. День и ночь. Дым столбом. Мозоли на пальцах. И все анонимно. Но соответственно — за солидный гонорар.

А сам виновник торжества сидит у себя в тайге, у костра греется, отгоняет комаров газетами со своим портретом, глушит спирт, сколько влезет, а когда очухается, потренькает слегка на бычьей жиле. Ездовые собаки завоют. Тайга ответит эхом. Чего ему, болезному, еще надо?

И знать не знает, и ведать не ведает он, какой шум по всей стране советской вокруг его чудного имени, какой он великий, славный человек. Этот акын дал дуба у себя в юрте с перепою, то есть умер, загнулся, но пока дошла горькая вестушка до Москвы, мой знакомый переводчик еще лет пять строчил за покойничка все новые и новые сказания и поэмы, и газеты славили акына, не ведая, что его шайтан забрал. Союз писателей каждый год слал ему телеграммы ко дню рождения с пожеланием долгих лет плодотворной жизни и новых творческих успехов.

Когда же все всплыло, обнаружилась невосполнимая потеря в многонациональной советской литературе, кончилась золотая жила переводчика, иссяк ручеек денежный. Осиротел наш сокол. Шибко опечалился. И пробудилось тогда в нем национальное самосознание, потянуло вдруг на историческую родину. И скоро ветры буйные, как писал он, бывалыча, в своих переводах с туземного, понесли добра молодца на крыльях железной птицы на родимую сторонushку — в тридевятое царство, тридесатое государство — в государство Израиль.

А теперь я отвечу на вопрос, почему именно евреи бросились по всем окраинам бывшей царской империи создавать письменность и культуру малым народам и народностям.

Получилось почему-то так, что советская власть из кожи вон лезла, лишь бы создать культуру для самой последней, самой маленькой национальной группы. Которая, сказать по правде, не очень-то тяготилась отсутствием

культуры, и уж никак нельзя было сказать, чтоб мечтала о ее сотворении. Но, кровь из носу, чтоб у всех была культура — таков был лозунг революции. У всех! У всех? Вот именно! За одним исключением. Вы, кажется, догадались. Конечно. Кроме евреев. Нет такой нации и нет такой культуры. Это обнаружил Сталин, когда проник в глубины марксистской философии. Сделав свое гениальное открытие, он во избежание всяческих кривотолков уничтожил чуть ли не всех еврейских писателей, поэтов, артистов, певцов — как будто их никогда и не было. И школы закрыл, и театры прихлопнул, а сам язык объявил запрещенным, не нашим — и чтоб духу его не было.

Евреи, у которых была культура, и, по слухам, довольно богатая, остались без всего, как мать родила. Будто их не было и нет в стране победившего социализма.

Но ведь они есть. Всех не перебили. Миллиона три наскрести можно. И публика настырная, не усидит на месте, все норовит чего-то, куда-то рвется. Таланты прут, народ распирает от энергии.

И нашли выход. Ограбленные мудрым вождем народов, евреи поохали, поохали и, утерев слезы, бросились по зову партии создавать культуру другим народам, кто никогда ее прежде не имел. Вывернули свою душу наизнанку, скрутили свой язык в бараний рог и запели чужими голосами. Во всех концах огромной страны. В горах Кавказа, в тундре Чукотки, в тайге Сибири. Начался расцвет многонациональной культуры.

В Дворянском гнезде появились десятки и, пожалуй, сотни так называемых переводчиков с языков братских народов СССР. И все с еврейскими носами. Фамилии свои они поменяли на псевдонимы, а носы поправить было делом посложней — расцвет культуры в те годы заметно опережал прогресс косметической хирургии.

Но недолго тосковали они по своему национальному прошлому. Применились к обстановке, как говорят военные. И не прогадали. За создание новых братских культур власть платила, не скупясь, и у переводчиков округлились животики, их жены засверкали бриллиантами в ушах и везде, где только можно и не можно. Новенькие

дачки, как грибы, выросли под Москвой, и в Крыму, и в Прибалтике. Авторы-тени, авторы-призраки стали богачейшими людьми на Руси. Акыны и ашуги национальных окраин в них души не чаяли, и ублажали своих благодетелей, как могли. Везли дань в Москву: барашков, и семгу, песка или соболя. И чтоб совсем угодить, даже еврейские анекдоты пересказывали, почти всегда забывая, отчего это должно быть смешно.

Но, как видно, одними малыми народами евреи не могли удовлетворить свой творческий аппетит. Потянулись они к великой русской культуре и стали очень даже расторопно обогащать ее.

Как известно, улучшать хорошее — только портить. Вы читали что-нибудь из русской литературы советского периода? Тогда вы должны были заметить, что от многих книжек отдает еврейским акцентом. Иногда я даже думал, что современный русский создавался не в Москве, не в Ленинграде, а только в Одессе. И не где-нибудь, а поблизости от Привоза.

Откровенно говоря, хоть я и не верю в Бога, но это Бог наказал тех, кто запретил евреям иметь собственную культуру. Вот они и кинулись в соседние и погуляли там на славу.

Возьмем, к примеру, русские песни. Советского периода. От гражданской войны до наших дней. Хорошие песни. Лирические. Народные. Русский человек с удовольствием, не замечая подвоха, поет их и в городах, и в деревнях. И я долго пел и ничего не замечал. Но один музыкальный критик — он, как вы догадываетесь, со мной не музыкой занимался, а стригся у меня — этот критик как-то надоумил меня посмотреть в корень. И я, знаете, ахнул. Что ни русская песня, то почти всегда еврейская мелодия в основе. Гвалт! Откуда? Почему?

Очень просто. Большинство композиторов-песенников в Советском Союзе, по крайней мере, до последнего времени, были наш брат — евреи. Я обслуживал четыре кооперативных дома композиторов и, поверьте мне, знаю, что говорю.

А на какие мотивы опирается композитор в своем твор-

честве? Ответ ясен—на народные. Которые он впитал с молоком матери или бабушки. Они ему пели над колыбелькой.

А теперь скажите мне, что мог услышать будущий композитор в своей колыбельке от своей еврейской бабушки в Бобруйске или Житомире? Не русские частушки, поверьте мне, и не «Боже, царя храни». Засыпая, он слышал печальные песни черты оседлости, и их как губка впитывал его восприимчивый мозг. Через много лет эти грустные, слегка на восточный лад, напевы дружно грянул русский народ.

Возьмем, к примеру, Северный народный хор. Из Архангельска. Это же поморы. Такие закоренелые славяне, что дальше некуда. В русских рубахах с петухами, в холщевых портках и смазных сапогах. Бороды — лопатой. Бабы в сарафанах и кокошниках. Все — блондинки, головки как лен. Глазки — небо голубое. Одним словом, Русь чистейшей воды. Даже не тронутая татарским нашествием. Татары, говорят, так далеко на север не зашли. И слава Богу. Иначе бы мы многих радостей лишились в жизни. На нашу долю только крашенные блондинки бы и остались.

Но я отвлекся. Значит, Северный хор. Песня поморов «Ой, ты, Северное море». Господи, Боже мой! Как затянут, заведут, так у меня сразу глаза на мокром месте, будто в Судный день в синагоге.

Или песня «Казачья-богатырская». Это же не секрет: если в России были антисемиты, то самые выдающиеся из них — казаки. Между евреем и казаком, как говорят ученые, полная несовместимость. Одним словом, собака с кошкой, лед и пламень.

И вот, представьте себе на минуточку, вываливается на сцену казачья ватага: чубы из-под фуражек, рожи разбойничьи, галифе с лампасами, и у каждого — шашка на боку. Как пустятся вприсядку, как загорланят. Вы знаете, чего мне захотелось после первых тактов? Мне захотелось ухватиться пальцами за жилетку и запрыгать, как в известном танце «Фрейлехс». Слушайте, вы не поверите, казаки отплясывали еврейский свадебный танец по всем

правилам, и если было что-нибудь отличное, так это, возможно, хулиганский свист и гиканье, без чего для русского человека танец — не танец. И жизнь — не жизнь.

Вот так, мой дорогой, время мстит. Если даже и выведутся на Руси евреи все до последнего, еврейский дух там еще долго не выветрится. И русские люди из поколения в поколение будут петь и плясать на еврейский манер. А уж о малых народах и говорить не приходится.

Вот такие пироги. Но вы не думайте, что я кончил свой рассказ.

Говорят, Дворянское гнездо в Москве сильно поредело, и множество моих клиентов снялось с насиженных мест и перелетело в Израиль. Кое-кого я там повстречал. Печальное зрелище, как пишут в старинных романах. Не приживаются на новом месте. То ли почва не та, то ли мозги не те. А ведь новые не вправишь. Да еще под старость. Эти еврейские акыны и ашуги в СССР приучились дуть в одну дуду, их уже не переучишь.

Один малый стал толкать статейки в местные газеты, так там только за головы хватались. Советские штампы старался на израильский лад приспособить. Если меня память не подводит, писал он, примерно, так:

«Наше родное Мертвое море».

Или:

«Весело провели субботу у Стены Плача жители Иерусалима».

Сейчас он переквалифицировался и зарабатывает бритмилой, то есть обрезанием новорожденных мальчиков. И живет не плохо.

А вот с другим моим клиентом — тяжелый случай. В Москве он писал былины и народные плачи для старушек-сказительниц, которых привозили в Москву выступать перед правительством и радовать его душеньку, что народное творчество не иссякло. И был мастером экстра-класс.

В Израиле он огляделся, вздохнул полной грудью и порадовал еврейский народ своим первым произведением на исторической родине. Это была былина, и называлась она хорошо и просто: «Плач русской тещи по еврейскому

зятю, абсорбированному в Израиле».

Начинается этот плач такими словами:

«Ой, ты гой еси, добрый молодец,
Зять любезный наш, Аарон Моисеевич»...

Слово «гой» в первой строке кой-кого насторожило в Израиле.

«Ты, касатушко, мой пейсатушко», — поется где-то в середине.

Тут уж запахло оскорблением верующих. Евреи с пейсами, которых евреи из России называют «пейсатыми», могли крепко обидеться.

А когда он использовал народный оборот «чудо-юдо, рыба-кит», за это самое «юдо» на него посмотрели уж совсем косо.

Не прошла былина, не состоялся плач. Автор скис и стал терять в весе. Но, видать, он еще не совсем отчаялся.

Один мой знакомый рассказывал, что после долгих поисков израильские вертолеты обнаружили его в Синайской пустыне. Обгорелый от солнца, усохший от зноя, он отирался возле бедуинских стоянок, не теряя надежды, что удастся обнаружить в песках какое-нибудь племя, обойденное Богом и культурой, и тогда вновь понадобятся его услуги.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

А теперь приготовьтесь выслушать печальную историю, хотя поначалу она вам и покажется смешной. Как говорят литературные критики, — а я их в Москве почти всех знал даже не в лицо, а в макушку, потому что, как вы сами догадались, они были моими клиентами, — это будет смех сквозь слезы.

Жил-был в Москве один журналист по имени Матвей. Фамилию не будем трогать, кое-кто может обидеться. Был этот Матвей журналистом довольно известным, не без искры таланта, как говорят в литературных кругах. Но что касается принципов, то он об этом деле понятия

не имел. Писал о чем угодно, врал как сивый мерин, а так как метод социалистического реализма подобного не воспрещает, а наоборот, даже поощряет, то наш Матвей всегда попадал в точку. Отхватывал солидные гонорары, толкался в Доме журналиста, в ресторане был свой со всеми, даже с поварами. Поэтому и со мной был в самых приятельских отношениях: как же — модный парикмахер, стрижет всю элиту, нельзя выпасть из обоймы — хотя волос у него на голове было меньше, чем под мышками.

Одним словом, пустой человек. Нуль. Врет в газетах, врет в жизни. Берет займы, забывает вернуть. Со всеми знаком, но никто с ним не дружит. Он вам зла не сделает, но и на добро не способен. Как мотылек. Порхает, порхает по жизни и не оставляет после себя ничего. Может быть, немножко испражнений. Чуть-чуть. Самую малость. Потому что и испражняться тоже надо иметь чем.

Конечно, когда евреи в Москве походили с ума, и эпидемия сионизма стала набирать силу, такие, как Матвей, поначалу даже ничего не заметили, а когда и до них дошло, стали показывать властям свою преданность. Как клоуны в цирке. К своим прежним приятелям, помеченным знаком сионизма, они не только перестали ходить, звонить по телефону боялись.

Даже меня, парикмахера, с которым знакомство самое шапочное, стали избегать как огня. Я еще работал, но Матвей у меня больше не стригся. А однажды, завидев на улице, перебежал на другую сторону, да с такой поспешностью, что чуть под троллейбус не угодил.

Трусливое существо. Из тех, кого в детстве мальчишки бьют просто так, на всякий случай, в армии им по ночам мочатся под одеяло солдаты, а в тюрьме уголовники загоняют их под нары.

Я уже уехал из Москвы, отмучился в Израиле, сижу в Риме, дожидаясь американской визы. Читаю газету — глазам не верю. Этот самый Матвей расписан как крупный сионист, борец за право выезда евреев в Израиль. Его в Москве преследуют власти. Уже в Америке и Анг-

лии созданы группы по борьбе за освобождение нашего Матвея из лап Кремля.

Сначала подумал — газетная брехня, напутал чего-то иностранный корреспондент в Москве. Они ведь там тоже дрожат от страха. Но нет. В других газетах печатают интервью с ним. Наш Матвей выступает от имени советских евреев, разоблачает советские власти, призывает мировую общественность. Короче говоря, крупный борец, пламенный сионист.

Ну, думаю, или я — сумасшедший, или весь мир сошел с ума. А тут подваливает из Москвы новая партия евреев, среди них немало моих бывших клиентов, и я между делом навожу справки: мол, что за чудо произошло с Матвеем, почему это мы, его современники, проглядели такого национального героя и сионистского пророка. И все, знаете ли, посмеиваются, и из их ядовитых реплик я воссоздаю примерно такую картину.

Матвей, как человек легкомысленный, долго не мог понять, почему все евреи сошли с ума, что их тянет от обеспеченной жизни в неведомый Израиль. Почему даже такие, на кого Матвей всегда смотрел снизу вверх: известные писатели, артисты, режиссеры, то есть люди, у которых было все, кроме птичьего молока, и те бегут, мчатся в Израиль. Значит, сообразил Матвей, там, в Израиле, их ждет положение, получше прежнего. Струхнул он, что опоздает — все разберут, расхватают, пока он соберется ехать. И, умирая от страха, подал заявление в ОВИР. Матвея, конечно, турнули из всех редакций. Но у него деньжата водились, и он не тужил. Ждет разрешения на выезд. Стал толкаться среди евреев, ездить в аэропорт провожать счастливицков.

ОВИР отказал Матвею в визе. Почему? А разве кто-нибудь знает, какая логика у ОВИРа? Отказали — и все. Как говорится, без комментариев. Бедный Матвей ушел из ОВИРа с полными штанами. Идет, мажет соплю по щекам. Навстречу — иностранный корреспондент, знакомый по Дому журналистов. Расспросил он Матвея и тиснул про него статью на Западе. С того и началось.

Матвей стал знаменит. Ему звонили из Нью-Йорка и Лондона видные евреи, депутаты парламента, самые знаменитые журналисты. Подбадривали его, говорили, что гордятся им, что луч свободы проникнет и в его темницу. И все в таком же роде.

У Матвея голова закружилась. Он поверил.

А тут еще советские власти у него телефон отключили. В мире начались протесты. Портреты Матвея на страницах газет.

Короче, когда ему, наконец, дали визу, Матвей окончательно потерял остатки разума и решил, что весь мир только и думает, как бы заключить его в свои объятия.

В Израиль он не поехал. Не тот масштаб. Подайвай ему Америку, всю планету.

В Нью-Йорке не было ни оркестров, ни толп репортеров. Никто не пришел встречать Матвея. Запихнули его с другими эмигрантами во вшивую гостиницу с тучами тараканов, сунули в зубы сотню долларов на пропитание и забыли.

Матвей обалдел. Он — туда, он — сюда. К сенаторам, к журналистам, к миллионерам. Как же так? В чем дело? Вы что, меня не узнаете? Это я — великий сионист Матвей!

Они от него — врассыпную. А когда он особенно надоедал, объясняли, что сионисту самое подходящее место в Сионе, а не в Бруклине, и что он никого не осчастливил, приехав в Америку.

Я его встретил однажды, зачумленного, как будто он лубиной по голове схлопотал. Разговаривать со мной не стал. С такими, говорит, не общаемся. Только на уровне Сената Соединенных Штатов Америки. А вы все — мелкая сошка.

У меня — глаз наметанный: сходит с ума, абсолютный вывих, и добром не кончит. Стало жаль мне его, хочу помочь, все же человек, живое существо. А он на меня посмотрел с презрением и ушел, руки не подав.

Дальше стало совсем плохо. Куда бы он ни лез — от него шарахались, как от больного. Он впал в нищету. Американскую. Когда в витринах густо, в карманах пу-

сто. Тут он вспомнил, что есть у него в Америке дядя, держит лавочку в штате Нью-Джерси. Сунулся Матвей к нему. Просить помощи гордость не позволяет, как-никак — национальный герой. А дядя сам не из догадливых, цента не дал. Только подарил фотокарточку покойного дедушки, и Матвей в сердцах выбросил ее из окна автобуса, когда ехал с пустым кошельком обратно в Нью-Йорк. Он содрогался, встречая еврейские лица на улицах. Все это были отныне его личные враги, ничтожества, предавшие своего героя и, конечно, недостойные его.

В Москве Матвей не отличался большим умом, но здоровья был отменного. Дуб, не человек. В Нью-Йорке он рухнул, как подкошенный. Свалился на улице и мгновенно скончался от разрыва сердца.

В жизни все перемешано: и комедия, и трагедия.

Я был на его похоронах.

Хоронили Матвея в маленьком городке штата Нью-Джерси, где держал лавочку его дядя. Вся местная община из уважения к дяде собралась в похоронном доме, чтобы почтить память несчастного еврейского эмигранта из России.

Матвей лежал в дорогом дубовом гробу с шестиконечной звездой, вырезанной на крышке. Дядя не поскупился. Похороны, если верить его словам, обошлись ему в пять тысяч долларов. И местный раввин закатил речь, от которой у меня защемило сердце. Ведь я был единственным в этой толпе скучных американских евреев, кто знал покойного при жизни, кто держал его живую глупую голову в своих руках, стараясь придать ей с помощью ножниц приемлемый вид.

Раввин, называя его не Матвеем, а на английский манер Мэтью, воздал ему все почести, которых он ждал, но так и не дождался от мирового еврейства при жизни. Раввин пропел ему оду, гимн, панегирик. Назвал его величайшим сионистом, крупнейшим борцом за человеческие права, талантливейшим журналистом, героическим сыном нашего народа, выдающейся личностью, бесстрашным героем.

И толпа американских евреев плакала. Не очень бурно,

чуть-чуть, чтоб не поплыла краска на ресницах и не нарушить пищеварения. Время было предобеденное.

Раввин вошел в раж и все больше распалялся, и мне казалось, что Матвей сейчас выскочит из гроба и благодарно повиснет на его шее.

Бог, ты мой, думал я. Услышь Матвей при жизни эти слова, он бы никогда не умер. И подари ему дядя из Нью-Джерси эти 5 тысяч долларов, во что обошлись его похороны, он бы не впал в отчаяние, приведшее его к разрыву сердца.

Его похоронили на маленьком еврейском кладбище, на участке, который дядя заблаговременно купил для себя, но по-родственному потеснился, уступив племяннику место в ногах своей будущей могилы. Негры-служители на ремнях спустили гроб в чужую яму и потом засыпали его чужой землей.

Когда я возвращался с похорон, меня чуть не стошнило в автобусе.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Скажите, вам не показалось, слушая меня, что Аркадий Рубинчик — самый обыкновенный коммунальный склочник, желчный человек с плохим пищеварением? Иначе он бы не совал свой нос куда его не просят и не задавал бы миру столько проклятых вопросов, на которые нет ответа.

Спрашивается, зачем я все так близко принимаю к сердцу? Кто мне за это спасибо скажет? А если не спасибо, то кто меня посчитает нормальным человеком?

У меня, слава Богу, есть в руках профессия. Стой себе за креслом, брей прыщавые щеки, стриги немытые патлы и каждый раз аккуратно мой руки, чтоб не зацепить заразы.

Но получается-то как? Стрижешь человека, а он — рта не закрывает. И, действительно, интересные вещи рассказывает. Я же — не железный. Начинаю волноваться, лезу со своими советами. У того свой взгляд на вещи, у меня — не-

множко другой. Одним словом, побрил человека и нажил себе врага.

Вот, к примеру, я не могу успокоиться при мысли, что из нашей братии, выехавшей из России, кто там был подонком, без совести и чести, тот и здесь отлично преуспевает. Как говорится, пришелся ко двору. А те, кто страдали, боролись, в тюрьмах сидели за свои, что называется, прогрессивные идеи, те вырвались в свободный мир и стукнулись рожей об стенку. Свободный мир от них шарахается как от чумных.

Возьмите тот же Израиль. Кого там пригрели? Кто там из наших ходит в патриотах, стучит кулаком в грудь, гневно бичует тех, у кого не достает такого патриотизма? Не знаете? Да это те же, что и в СССР до последнего дня, пока им не дали пинка под зад, ходили в советских патриотах, властям зад лизали, причмокивая от наслаждения, и дружно голосовали на казенных митингах против происков мирового сионизма вообще и израильских агрессоров, в частности.

Господи, им даже не пришлось перестраиваться. Они нашли новый зад, да так и впилась в него губами.

В особенности, журналистская братия. В СССР они на радио и в газетах такие коленца откалывали! По части коммунизма были святее римского папы. Выехали из СССР под общий шумок, без особого риска, но с полными штанами от страха. И как расправили перья, как налились до бровей антикоммунизмом, так что даже Франц Йозеф Штраус из Баварии выглядит на их фоне розовым голубем мира. Они снова дорвались до микрофонов, строчат в газетах. Разоблачают, клеймят...

И скажу вам, на такую, извините, падаль в этом мире большой спрос. Дерьмо нынче в цене. По обе стороны железного занавеса.

Даже американцы... Уж они-то могли бы себе позволить роскошь быть немножечко брезгливыми? Что вы!

Брился у меня один клиент. Славный, интеллигентный человек, отсидел в Сибири за свои мысли, высказанные вслух. Он не уехал, его выставили из СССР. Тогда он решил тут продолжать борьбу, на всю Россию те же мысли, за которые сидел, высказать. Сунулся на радиостанцию, а там ему от ворот поворот. Нам, мол, люди с принципами не

требуются, с такими хлопот не оберешься. Да и штат у нас укомплектован.

Глянул мой клиент на этот штат и глазам не поверил. Бывшие платные агенты КГБ. И бесплатные, те, что доносили на людей из любви к искусству, на общественных началах. Их берут без разговору. Апробированный товар. У таких не бывает своих идей. И угрызений совести тоже. Они делают то, что им приказывают. Беспрекословно. И там, и здесь. Правда, здесь это лучше оплачивается. Конвертируемая валюта.

Порой мне кажется, что вся жизнь наша — сплошной цирк. Вот послушайте. С одним малым наши жизненные пути пересекались несколько раз, и, как говорится, под различными широтами. Вы, конечно, догадываетесь, что точкой пересечения всегда было мое парикмахерское кресло.

В Москве он сделал большую карьеру, карабкался вверх, как альпинист-скалолаз. Есть люди, которые разговаривают во сне. Так вот он из тех, что и во сне кричали: «Слава КПСС!»

Как он разоблачал по радио злейших врагов советского народа — израильских агрессоров и американских империалистов! Как он таскал за ноги бедную бабушку Голду Меир, называя ее бабой-ягой, чудовищем, гиеной...

В Иерусалиме — плюхнулся в мое кресло и с ходу:

— Голда Меир — величайшая женщина на земле. Библейского масштаба. Я готов целовать следы ее ног.

И, знаете, искренне так, даже слеза сверкнула.

В Нью-Йорке он снова попал в мое кресло. Заехал по делам в Америку. А сам проживает в Лондоне. Английская валюта попрочней израильской. Как всегда — вещает на радио.

Я, шутя, как старому знакомому, говорю:

— Как поживает государыня-королева? В телевизоре она выглядит смазливой бабенкой.

Как он вспылит! Как вскочит с кресла!

Вы, мол, Рубинчик, бросьте эти фамильярные штучки. Я не позволю в моем присутствии так отзывать о моем монархе!

Еврей-монархист...

Знаете, я смотрел на него и ждал, что он вот-вот загорланит английский гимн: «Боже, храни королеву!..»

С еврейским акцентом, британской надменностью и коммунистическим металлом в голосе.

Зачем я об этом рассказываю? И почему меня это волнует? Вы не можете мне объяснить? Я, конечно, неисправимый кретин. А кретинов и горбатых только могила исправляет.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Кто такие дети лейтенанта Шмидта, я надеюсь, вы знаете? Потому что книга о них, написанная двумя одеситами, стала в России куда популярнее, чем, скажем, гениальный ленинский труд «Шаг вперед, два шага назад». Следовательно, не читать Ильфа и Петрова мог только босяк или полоумный, ибо неграмотность в СССР поголовно ликвидирована.

Если же вы уникам и действительно не читали про де-ля лейтенанта Шмидта по какой-нибудь очень уважительной причине, то, извольте, я с большим удовольствием объясню вам, что — к чему.

Еще задолго до революции жил в России лейтенант императорского флота некто Шмидт. Не еврей, но вполне приличный человек из обрусевших немцев. Этот лейтенант устроил на своем корабле восстание, и так как случилось это задолго до большевистской революции, то царь Николай Второй легко это восстание подавил, а лейтенанта Шмидта велел казнить.

Люди очень жалели бедного лейтенанта. После революции его именем стали называть улицы, заводы, и каждый школьник знал это имя наизусть. Вот тогда-то и появились на свет дети лейтенанта Шмидта, воспетые в бессмертном творении Ильфа и Петрова.

Известно, что лейтенант Шмидт был холост и отличался безупречным моральным обликом, так что детей —

законных или побочных — у него быть не могло. Но этот факт был известен историкам и архивариусам, а не широким народным массам, которые свою любовь и жалость к несчастному лейтенанту легко переносили и на его невесту откуда взявшееся потомство. И причем довольно многочисленное.

Жулики всех мастей, молодые и старые, объявляли себя сыновьями лейтенанта Шмидта, разделили всю Россию на зоны, и каждый пасся в своей, собирая богатую дань с частных лиц и общественных организаций. Кто откажет в помощи сыну лейтенанта Шмидта, временно попавшему в затруднительное положение?

Сейчас, после того, как начали выпускать евреев из СССР, по всему миру замелькали те же фигуры, но уже не дети, а скорее, внуки лейтенанта Шмидта.

По Европе и Америке, по еврейским организациям, си-нагогам и просто частным богатым домам с мезузой у входа, снуют, пожиная обильные плоды в виде даров и воздаяний, мужественные советские евреи. Не те, что действительно воевали с советскими властями и, рискуя головой, открывали щель в железном занавесе. А те самые, что в относительной безопасности выскочили из России в общей толпе, привлеченные звоном денег в преуспевающих еврейских общинах Европы и Америки. Эти внуки несчастного лейтенанта наделали много бед поначалу, пока их не раскусили, и благодаря их стараниям о русском еврействе уже не говорят с прежним благоговением и гордостью.

Об одном таком внуке я и хочу вам рассказать, тем более, что он родом из того самого города на Черном море, где когда-то преждевременно, и потому неудачно, поднял восстание холостой бездетный лейтенант. Он — мой тезка. Тоже Аркадий. Только фамилия другая. Грач. Аркадий Грач.

Этот шустрый малый прибыл в Израиль с первыми ручейками эмиграции. Приехал один, с двумя потрепанными чемоданами в руках. В них был весь его капитал, и ценность его равнялась нулю. Он повертелся недельку-другую, прикидывая, чем бы тут можно было подзанять-

ся. Изучать древний язык — иврит показалось ему делом трудоемким и не совсем результативным. Да и сама родина историческая не приглянулась, а люди показались провинциальными и неинтересными. Демагогией попахивало на каждом шагу, что до непристойности напоминало покинутую прежнюю родину.

Он сделал первый ход. Е два — Е четыре. Громко завопил на всех углах о своей любви к Израилю, о готовности отдать за него кровь. И даже жизнь.

Его заметили. Вокруг него стали увиваться дамы-благотворительницы из женских сионистских организаций, его стали представлять американским гостям, как подлинного сиониста из России, а тем эмигрантам, что морщили нос и не от всего приходили в восторг, приводили его в пример.

Кое-что перепало ему. Какие-то ссуды. Безвозвратные. Какие-то частные пожертвования. Деньгами. И одежкой, подогнанной под рост у портного.

Долго это длиться не могло. Он понимал. И мучительно искал лазейку для очередного хода.

Случай подвернулся скоро. Прекрасный случай. Надо было лишь умело взять его за рога и доить, доить, пока руки не устанут.

Далеко в России, в городе, откуда он приехал, посадили в тюрьму еврейскую девицу. За сионизм. То есть за то, что захотела в Израиль. Власти искали повод припугнуть остальных евреев, и выбор пал на нее. Девицу на год упрятали за решетку. Чтоб другим неповадно было мечтать об Израиле.

Мировое еврейство забурлило. Имя девицы, звали ее Аня Злотник, а заодно и ее портреты стали мелькать в газетах и журналах.

Ей, конечно, от этого легче не стало. Наоборот, тюремный режим ей усилили и натравили уголовников, чтоб они ей показали, почем фунт лиха.

Одним словом, как в той сказке. Господа дерутся, а у мужика чуб трещит. Девица Злотник в политике слабо разбиралась, к тому же была в перезрелом возрасте, и, как я понимаю, влекло ее в Израиль по очень прозаической

причине — в еврейском государстве, верилось ей, удастся, наконец, устроить личную жизнь, подыскав себе еврейского мужа. А вместо этого она нашла себе тюрьму.

Аркадий Грач, напрягши память, вспомнил девицу Злотник и даже кое-кого из ее родни, и понял, что в руках у него козырная карта.

Он громогласно объявил, что он муж Ани Злотник, советская власть их разлучила, и теперь с помощью мировой общественности он начинает борьбу за освобождение любимой жены и воссоединение семьи.

За него ухватились, как за дар божий, и он начал триумфальное турне по планете, вернее, по тем ее не худшим частям, где обитают евреи. Париж, Брюссель, Лондон, Торонто, Нью-Йорк, Майами-бич. Он пил на банкетах с сенаторами, спал в самых дорогих отелях, летал в самолетах только первым классом. И брал. Все, что сами давали и что догадывались дать после его намеков. Деньгами и натурой. Завел счет в банке. Прикупил чемоданов побольше.

Месяц за месяцем гулял Аркадий по планете. Фотографировался со скорбящими, соболезующими еврейскими женщинами, с бизнесменами-миллионерами, чуть ли не с президентами и королями. Ел и пил сверх меры. По русской привычке: набивать брюхо про запас. Располнел и даже одышкой обзавелся.

Он стал представительным светским человеком. Одевался по последней моде, и многие знаменитые фирмы еще и приплачивали ему, чтоб он, выступая по телевидению, надел их костюм.

Голос Аркадия через переводчиков гремел в парламентах разных стран, в международных комиссиях. Он даже как лицо известное стал подписывать петиции в пользу страдающего от наводнения народа Бангладеш и племен Центральной Африки, не менее страдающих от засухи.

Сам неоднократно принимал участие в голодовках протеста возле здания ООН и с пользой для здоровья терял в весе до трех кило. Правда, он ни разу не упустил случая после голодовки потребовать денежную компенсацию за

всю несъеденную пищу. Потому что политика политикой, а деньги счет любят.

Отдельные американские, английские и французские еврейки, обычно жены богатых людей, прекрасно сохранившиеся на вольных хлебах, так горячо и неистово окунались в борьбу за освобождение его жены, что взяли безутешного Аркадия под свое женское покровительство. Чтобы скрасить его затянувшееся одиночество, они темпераментно и с толком разделяли с ним ложе в отелях и в загородных домах, демонстрируя подлинно еврейскую солидарность.

Он настолько привык быть мужем девицы Злотник, что даже искренне плакал в синагогах, когда там молились за ее скорейшее освобождение. В угаре свалившейся на него светской жизни он не заметил, как прошел год, и по еврейским общинам мира, потратившим столько энергии на борьбу за Аню и на сочувствие ее мужу Аркадию, прокатилась радостная новость: Аня Злотник вышла из тюрьмы и получила визу в Израиль.

У Аркадия Грача даже тик открылся. Его целовали, его поздравляли, и он не мог сдерживать слез. Но совсем по иной причине: кончилась красивая жизнь. Надо уносить ноги.

Как жениха, снаряжали его американские евреи в Вену, где состоится историческая встреча разлученных супругов. Его засыпали подарками для жены. И это был последний клочок шерсти, который он урвал с доверчивого и сентиментального еврейства.

Накануне отлета в Вену Аркадий Грач бесследно исчез. Со всеми подарками и с солидной чековой книжкой. Сначала его искали. Потом, когда Аня Злотник объявилась в Израиле, стало ясно, что он был аферист, и чтоб не позориться перед всем миром, евреи поспешили забыть о ловком внуке лейтенанта Шмидта — фиктивном муже узницы Сиона Ани Злотник.

А он остался в Штатах. Даже не заехал в Израиль забрать свои два рваных чемодана, с которыми прибыл из России. Он неплохо устроился, купив небольшую гостиницу на деньги еврейских благодетелей.

Правда, стал заливать за воротник. По русской привычке. Один мой приятель останавливался в этой гостинице и там столкнулся с ним.

Вы думаете, он смутился или, там, стал оправдываться? Ничего подобного. Наоборот. Устроил ему очень сердечный прием.

Аркадий крепко угостил его за свой счет, и они просидели в ресторане допоздна. Негры-официанты уже снимали со столов скатерти. Пьяный Аркадий и их угостил за свой счет и на скверном английском языке стал рассказывать им, каким он был недавно великим человеком, с какими сенаторами и королями пил за одним столом и даже на брудершафт, и какая у него была знаменитая и красивая жена по имени Аня Злотник.

При этом он хлюпал носом, и настоящие мутные слезы текли по его рыхлым щекам. Негры пили за счет Аркадия и не верили ни одному слову. Но на всякий случай жалели его.

Теперь я вас спрашиваю: что такое дети лейтенанта Шмидта по сравнению с этим внуком? Жалкие ничтожества и мелкие аферисты. Внук лейтенанта Аркадий Грач — фигура международного масштаба, и какой-нибудь другой народ, победнее талантами, чем мы, евреи, не стал бы стыдиться его, а, наоборот, сделал бы своим героем и гордился бы им, выставив его портреты в День независимости и освобождения от колониального рабства.

Я ведь тоже не могу сказать, что осуждаю таких, как Аркадий. Какое я имею право? И чем я лучше его? Господи, все мы живые люди. И, если человек не делает откровенных подлостей, то в наше время его уже считают личным и даже уважаемым.

Тем более сейчас, когда сто тысяч русских евреев, выпучив глаза, сорвались с насиженных мест, разорились дотла, очумели и выброшены в Израиль, как после кораблекрушения на какой-нибудь скалистый островок. Будешь откалывать коленца! Конечно, исключения есть. Но они, как известно, подчеркивают правило.

Такова се ля ви. Как говорят французы. И один мой бывший клиент в Москве. Писатель-юморист.

Над Атлантическим океаном. Высота 30600 футов.

Когда меня спрашивают: вы женились по любви или по расчету, то я отвечаю, не задумываясь, если, конечно, рядом нет жены: по расчету.

Ну вы, натурально, сразу подумали, какой циничный человек этот Рубинчик, какой он жуткий материалист, и должен вам сразу сообщить, что вы поспешили с выводами и глубоко ошибаетесь. И не такой уж я материалист и хапуга, как вам сгоряча показалось, и не больший циник, чем все остальные. Хотя, сразу оговариваюсь, я не собираюсь вам доказывать, что я чистейший идеалист и готов за ближнего душу отдать.

Да, я женился по расчету. И это при том, что у моей жены не было ни богатого наследства, ни имения, ни каменных палат. Она получала грошовое жалованье медицинской сестры, и жилой площади у нее имелось восемнадцать квадратных метров в единственной комнате, расположенной в большой коммунальной квартире, где еще одиннадцать семей имело по комнате, и на всю эту кофлу была одна уборная с протекающим сливным бачком, одна с облупленной эмалью ванная и одна кухня на всех. Не нужно иметь много фантазии, чтобы представить себе, что творилось на кухне, когда хозяйки начинали варить обед или когда утром, покинув объятия Морфея, все сорок соседей, пританцовывая и подвывая, выстраивались в очередь к единственному унитазу.

Но это еще было бы раем. Моя жена не была единственной жиличкой в своей комнатке, она делила ее с мамой Цилей Моисеевной и племянницей Розочкой из Бобруйска, которая поступила в педагогический институт, но койки в студенческом общежитии не получила.

И тем не менее, я женился по голому расчету. Вы не по-

нимаете? Это потому, что я в своем рассказе упустил одну деталь. Комната моей жены с мамой и племянницей в придачу и вся эта перенаселенная коммунальная квартира находились не где-нибудь, а в Банном переулке, возле проспекта Мира, в столице нашей Родины — Москве.

Сейчас вам ясно? Или требуются пояснения? Я женился ради прописки, чтобы получить право жительства в Москве. Должен вам сказать, что в Европе и Америке живут сплошные идиоты. Сколько я им ни пытался объяснить, что такое прописка — они ни в зуб ногой, их мозги отказываются понимать. Я уж им, как малым детям, растолковывал, как ученикам школы для дефективных. Что в Советском Союзе во всех мало-мальски крупных городах, чтобы получить право жительства, надо сначала добиться разрешения местных властей, а потом уж милиция пропишет вас на чьей-нибудь площади. Потому что своей вы не достанете — жилищный кризис. Местные жители по десять лет в очередях ждут. Что уж говорить о приезжих?

Разрешение на жительство от местных властей можно получить только в исключительных случаях: или вы большая партийная шишка, или вы незаменимый специалист и нужны этому городу до зарезу, или... за взятку. За кругленькую сумму, вложенную в лапу кому следует. Я не был ни тем, ни другим, а также кругленькой суммы в моем кармане не водилось. Жил я в небольшом городе Мелитополе и о Москве мечтал по нескольким причинам.

Начнем с первой. Мне тогда казалось, что только в Москве могут оценить мой талант, и только там я сумею занять подобающее мне положение. В Мелитополе я был лучшим дамским мастером, учиться, чтобы совершенствоваться, было не у кого, и я буквально задыхался в провинциальной глуши. В том, что у меня есть талант, не сомневался никто, вплоть до начальника городской милиции майора Губы, страшнейшего антисемита, который мне в свое время доставил массу неприятностей. На всеукраинском конкурсе «За здоровый и красивый быт» мои прически получили призовое место, а дамская головка,

исполненная мною на актуальную тему «Раскрепощенная Африка», даже поехала на смотр в Пекин (тогда мы еще дружили с Китаем).

Победители киевского конкурса, кроме премий, получили самый драгоценный приз — приглашение работать в Москву, а следовательно, и заветную прописку. Меня в этом списке, конечно, не было — носом не вышел. В Москве и так слишком много развелось евреев. Вторая причина: незадолго до этого я отбыл срок. Не подумайте, что за политику. Боже упаси! По глупейшему уголовному делу. Можно сказать, за пустяк. Начальнику нашей милиции майору Губе не понравился мой нос. Вот и загремел я на Север.

Будет время, я вам подробно расскажу об этой моей эпопее, и вы будете смеяться вместе со мной, потому что плохое забывается, а смешное бывает даже и в тюрьме.

Как вы понимаете, жить после этого в Мелитополе, где начальником милиции тот же Губа, но уже не майор, а с повышением — подполковник, перспектива не из самых приятных. И я решил любимыми путями уехать в Москву и чего бы мне это ни стоило добыть московскую прописку.

В Москве я имел знакомых. Славные ребята, вместе отбывали срок на Севере, и такая дружба — как фронтовая: водой не разольешь. Миша и Сеня. В отличие от меня, они сидели по политической статье. За сионизм. Еще в сорок восьмом году, когда создали Израиль, эти два московских чудака решили поехать сражаться за еврейское государство, а так как выехать из России было невозможно, они попробовали перейти советскую границу нелегально. Это даже опытным диверсантам очень редко удавалось. Мишу и Сеню, конечно, сдапали как цыплят, и они загремели на Север и на очень большой срок. Если бы Сталин не умер, им бы век свободы не видать. Через какое-то время меня доставили туда же, и как сионисты они пригрели меня, и мы вместе работали на лесоповале.

Я приехал в Москву, где без прописки не мог оставаться больше 48 часов, и, конечно, эти ребята меня приютили. Они и их друзья стали думать и гадать, каким путем меня закрепить в Москве на законном основании.

Прикидывали так и эдак — не получалось. Оставался последний вариант. Женитьба. Жена-москвичка автоматически делает мужа-провинциала полноправным столичным жителем.

Они же и подыскивали мне невесту. Мою нынешнюю жену. Честно говоря, я думал, что это не всерьез. Стану на ноги, устроюсь и сбегу от нее — только меня и видели. Но... человек предполагает, а Бог располагает. Как говорится, судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Попробуй подать на развод, а она расскажет на суде, из каких корыстных побуждений ты на ней женился, и тебя не только выставят из Москвы, но и могут за решетку упрятать. А я уже раз там был, видел небо в клеточку, и больше не хочу и другим не желаю.

Вот так я и женился по расчету. Не получив ни денег, ни хором в приданое. Ради паршивого штампа в паспорте, делающего меня законным жителем большого города.

Кто такая моя жена? Как говорится, без особых примет. Так себе. Ничего особенного. Засидевшаяся в девицах еврейка.

Ну, тут я сам себя, кажется, рассмешил. Потому что в девицах она не столько сидела, сколько лежала. Она была медсестрой на фронте. У нас в армии таких называли ППЖ. Походно-полевая жена. Там, как говорится, только конь не ночевал. Взводы и роты. Любой род войск. Одним словом, могила неизвестного солдата.

С такой репутацией выйти замуж после войны было не так-то просто. Она долго дождалась своего счастья. Пока я не подвалил в Москву, готовый на все ради прописки.

Вы будете смеяться, но я вам должен сказать, мы очень неплохо жили. Дай Бог другим семьям. Почти без ссор. Оба фронтовики, можем выпить, можем матом запустить. Чего нам делить? Свое еврейское происхождение? Так оно и так, как горб, висело на обоих и даже сближало нас в трудные для нашего брата моменты.

Она на голову выше меня ростом, и женскую свою ласку еще до меня израсходовала, а вот материнской оста-

лось в избытке. Детей у нас не было, и ко мне она относилась, как к сыночку. Довольно непутевому. И даже просила всяческие мои шалости на стороне.

Единственное, к чему я не мог привыкнуть и мучился, пока не умерла ее мама Циля Моисеевна, а племянница Розочка кончила институт и распределилась на полуостров Канин Нос, так это спать с женой в постели, когда в этой же комнате находятся еще две взрослые женщины.

Нашу супружескую кровать, — должен заметить, оглушительно скрипучую, — от кровати мамы отделял шкаф, поставленный посреди комнаты. От Розочки мы отгородились ширмой. Вы себе можете представить это удовольствие! Во-первых, лежишь долго в темноте и не дышишь, как будто ты в засаде в тылу противника. Часами. И когда уже казалось, что все в порядке, стоило моей жене попробовать обнять меня, — сам я первым начинать не отваживался, — как сразу напал приступ кашля на Цилю Моисеевну, а Розочка начинала так страстно вздыхать, что я начисто лишался мужских качеств.

А утром мы все четверо вставали разбитые, не выспавшиеся, с таким лицами, будто провели непристойную бурную ночь, и старались не смотреть друг на друга.

Как говорят художники, картинка с натуры. Одним словом, социалистический реализм.

После долгих размышлений я пришел к такому открытию: браки совершаются по расчету чаще, чем по любви. Я имею в виду Советский Союз, и его еврейское население в первую голову. Расчет этот чаще всего не экономический, а я бы сказал, социальный.

После революции детки буржуев, расстрелянных и недорезанных, норовили сочетаться браком с потомками чистейших пролетариев, то есть, голи перекатной. После колхозной эпидемии уцелевшие от высылки в Сибирь крестьянские сынки считали за божий дар еврейскую невесту. Это их сразу делало интернационалистами и открывало спасительный путь к корыту, то есть в партию большевиков.

Когда ввели паспортную систему и как гвоздем прибили человека пропиской к одному месту, лишь браки по рас-

чету могли помочь сменить место жительства. А уж в наши дни, когда евреи, сказав: адыю, любимая страна, — всеми правдами и неправдами стали просачиваться за рубеж, брак по расчету стал равнозначен заграничной визе.

Причем началось это не сейчас, в эпоху, если можно так выразиться, русского сионизма, а намного раньше, в конце пятидесятых годов. Тогда появилась первая легальная возможность выскочить из СССР, не лишившись по пути головы.

Когда-то, в 39 году Гитлер и Сталин поделили между собой Польшу, и Советам досталась добрая половина: Вильно, Львов, Гродно, Брест. Лет через двадцать разрешили бывшим польским гражданам репатриироваться в западный остаток Польши. Для бывших польских евреев открылась чудесная лазейка — из Варшавы, где был полный кавардак, и все продавалось и покупалось, улепетнуть в Тель-Авив не составляло большого труда.

Но что же делать евреям, которым не посчастливилось быть когда-то польскими гражданами, и они родились не в Ковеле, Ровно, а в Жмеринке и Мелитополе?

Я вижу, вы улыбаетесь, а это значит, что догадались. Конечно. Брак по расчету. С бывшей польской гражданкой. Любого возраста. И даже, если у нее физиономия козы.

Фиктивный брак. Который за пределами СССР не имеет силы. Во Львове и Вильнюсе даже заработали брачные биржи. Средняя цена невесты (возраст не в счет) 10 тысяч рублей. Старыми деньгами. Тоже, скажу я вам, сумма не маленькая. Но и не большая, если учесть, что ею покупалась свобода.

Какие на этой почве разыгрались драмы, комедии и трагикомедии — еще ни один писатель не описал. Возможно, потому что уже нет еврейских писателей. А может быть, от того, что скоро исчезнут и читатели. Ведь мы вымираем, как мамонты.

Но две истории из той поры я вам все же расскажу. Ну, хотя бы потому, что вы уже знаете героев этих историй. Миша и Сеня, москвичи-сионисты, что сидели со мной

когда-то в лагере, а потом помогли мне осесть в Москве с помощью вышеописанной женитьбы.

Они, как и я тогда, были холостыми, и не собирались жениться, пока не прослышали о виленских и львовских невестах, у которых приданое — заграничная виза. Они тут же бросились на ярмарку невест, чтобы не проворонить этот быстро растущий в цене товар. Я на правах приятеля сопровождал их в этой поездке, и поэтому знаю все из первых рук. Мы направили свои стопы в Вильнюс. Потому что Львов — это Галиция, а еврей-галицианин — это, мягко выражаясь, не лучший еврей, и он тебя обдерет как липку и еще не разрешит поплакать. А Вильно — это всё же еврейские традиции, еврейская сердечность и доброта, и там хоть можно поторговаться, немножко сбить цену за невесту.

И действительно, для Сени мы выторговали невесту за девять тысяч, а Мише пришлось выложить все десять.

Невест предлагали в синагоге, в парикмахерских, на базаре, даже в бане, в парном отделении. Одним словом, в любом месте, где собиралось больше двух евреев. И, пересчитывая деньги, виленские папаши и мамыши, фиктивные тести и тещи, со вздохом оправдывались:

— Мы помогаем вам осуществить вашу вековую мечту, а наша бедная девочка купит себе холодильник и пылесос, и у нее будет хоть какое-нибудь приданое, когда она подберет себе там, в Эрец Исраэль, настоящего порядочного человека, а не фиктивного мужа.

Миша и Сеня продали в Москве все, что имели, чтобы наскрести этот калым за невесту на выезд. Даже влезли в долги. Своим невестам они и в лица не заглянули. Ударили по рукам, не глядя. Эти невесты их интересовали как прошлогодний снег. Только бы пересечь границу, а там — поминай как звали. Вам, невестам, — холодильник и пылесос, а нам — свободу.

Так думали они. То есть Миша и Сеня. Но совсем другое копошилось в головках у проданных невест. Послушайте, послушайте. Такое нарочно не придумашь.

Начнем с Сени. Который очень гордился, что отторговал тысячу и отделался дешевле Миши. Его невеста была

не из самого Вильнюса, а из предместья. Местечковая еврейка, и, если верить ей, только на пять лет старше Сени. Но кому какое дело до ее возраста, если все это не всерьез, а так, лишь бы выехать.

Как только они с Сеней оформили законный брак, и все девять тысяч перекочевали в карман ее мамыши, ново-брачная изъявила желание съездить в Москву, где она прежде никогда не бывала, и познакомиться перед расставанием навсегда с родственниками своего хоть фиктивного, но все же мужа.

Сеня не смог ей в этом отказать и смеха ради назвал эту поездку свадебным путешествием. Он смеялся последний раз в жизни.

Этой, так сказать, жене очень даже понравилось в Москве. После местечка-то. И она наотрез отказалась покинуть горячо любимую советскую родину. Прописалась на сениной жилплощади, купила на его деньги холодильник, пылесос, а Сене и его родне, которых она крепко потеснила, заявила категорически:

— Нет больше фиктивного брака! Забудьте! Я — член вашей семьи. Прошу любить и жаловать!

И для пущей ясности тонко намекнула, что случится с их Сеней, если она пойдет куда следует и выложит всю правду, что это был за брак и с какой целью этот бывший арестант на ней фиктивно женился.

Родня прикусила язык. Сеня тоже.

Сейчас у них сын кончает консерваторию по классу виолончели. А холодильник стоит все тот же. Пылесос, правда, пришлось сменить. Сломался.

А родня благополучно вымерла от огорчения и других неприятностей, освободив жилую площадь. Сеня жив еще.

Теперь перейдем к Мише. С ним все было иначе. Ему досталась невеста тихая, скромная, очень застенчивая. Девушка лет семнадцати из приличной еврейской семьи. Семьи настолько приличной, что Мише поверили в долг и зарегистрировали брак, не подержав в руке ни одной живой копейки. Миша сказал, что все десять тысяч дожидаются в Москве. Это было полуправдой. В Москве у миши-

ной мамы под подушкой лежали семь тысяч, остальные три надо было еще достать.

Они поженились в Вильнюсе и, естественно, и двух минут не провели вместе. Родители охраняли фиктивную жену от Миши, как от опаснейшего соблазнителя, а она ему была нужна, как дырка в голове. Ночевал он в их доме, и его укладывали на полу в кухне, как можно подальше от новобрачной, и для большей верности папаша ложился спать рядом с Мишей и мертвой хваткой держал его всю ночь за руку.

Все эти меры не помогли.

Нужно было ехать в Москву за деньгами, и чтоб Миша не сбежал, ее родители ничего лучшего не придумали, как отправить ее вместе с Мишей. Заодно, благоразумно прикинули они, ребенок посмотрит Москву, побывает в музеях, сходит в Большой театр. Когда еще представится случай из заграницы съездить в Москву? И платить за это долларами?

В поезде, между Вильнюсом и Москвой, подвыпивший на прощальном ужине Миша, увлекшись на минуточку, лишил свою спутницу невинности, а для еврейской девушки из приличной семьи этого оказалось более, чем достаточно, чтобы забеременеть. Фундаментально, без всяких сомнений.

Она родила, пока они были в Польше. Второй ребенок появился на свет в Израиле, где они задержались не больше года. Этого срока для сиониста Миши оказалось достаточно, чтоб полностью растряссти свои юношеские иллюзии и бежать с двумя детьми и бывшей фиктивной женой под мышкой, куда глаза глядят.

Я встретил его в Америке. У него трехэтажный дом, свое дело. По-английски чешет, как будто Гарвард кончил. Детей уже пятеро. Последние трое — уроженцы Америки, то есть стопроцентные янки. Могут выставлять свою кандидатуру в президенты США.

Весь дом держится на жене. Она, кстати сказать, оказалась особой очень даже предприимчивой, и их процветающий бизнес — дело ее хрупких рук. Кроме того, она пре-

красная мать и преданная жена. И похорошела, расцвела на американских хлебах. Почти секс-бомба.

Теперь скажите мне, что еще человеку надо? И по какой самой горячей и пылкой любви нашел бы себе Миша такую жену?

Вот вам и брак по расчету.

Дай Бог нам с вами так угадать в жизни.

Пока я у них гостил, я все время не сводил с нее глаз и завидовал Мише самой здоровой завистью. Ей нравилось мое внимание, и она, прощаясь, пригласила меня почаще навещать их. Миша же ничего не говорил, хотя друзьями мы были с ним, а не с ней. Она была главой дома, и все решения принимались ею. Единолично, без консультаций.

Ведя меня под руку через лужайку к автомобилю, она со смехом сказала, шаловливо покосившись на шедшего сзади Мишу:

— А те десять тысяч он мне так и не уплатил. Сделал вид, что забыл уговор с моими родителями. Я уехала без холодильника и без пылесоса. Зато с мужем, который свою собственную жену обсчитал.

И сказала это, клянусь вам, с гордостью за своего благоверного, который еще в Москве проявил некоторые американские черты.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Что ни говорите, а во всем нужна высокая квалификация. Я — за профессионализм и терпеть не могу любителей, всяких там дилетантов. Скажем, вот я — парикмахер. Можно, конечно, оболванить любую голову, тяп-ляп — и готово. Освободите кресло. Следующий! Я никогда не опускался до халтуры, и поэтому, где бы я ни работал, все знали: Аркадий Рубинчик — мастер высшего разряда, золотые руки, серебряные пальчики. Собственно говоря, это есть профессионал.

Но встречали ли вы профессиональную вдову? Или

профессионального сироту? Или еще лучше. профессионального голодающего?

Пока я не уехал из России, клянусь вам моей профессиональной честью, ни о чем подобном не слыхивал и даже не предполагал, что такое может быть. Но с тех пор, как я окунулся в гущу моего родного еврейского народа, который, как известно даже антисемитам, талантлив многогранно и разносторонне, я понял, что все может быть, и ничему не следует удивляться.

Как сказал один старый русский доктор, получивший диплом еще при царе, — мы с ним вместе проверяли санитарное состояние детского сада под Москвой и обнаружили восемьдесят процентов вшивости:

— Жизнь богаче фантазии.

Хотя, должен признать, и в России мы имели некоторые примеры. Помните, была такая профессиональная мать. Ее дети погибли на фронте героями. А она из этого сделала источник дохода. Ездил по конгрессам. Премии. Подарки. До самой смерти обеспечила себя.

У нашего брата, еврея, такой профессионализм принял не менее прибыльную, но еще более самобытную форму.

Что такое профессиональная вдова? Самый простой ответ — это женщина, которая из своего вдовства сделала профессию, приносящую не меньший, а, может быть, и больший доход, чем тот, которым мог при жизни баловать ее покойный супруг.

Лучшее объяснение — живой пример.

Скажем, жил в России еврейский артист. Талантливый человек. Не без этого. Коммунист на сто пятьдесят процентов. Сталину все места вылизывал. Заочно, конечно. На почтительном расстоянии. Потому что Сталин евреев не жаловал и близко к некоторым частям своего тела не подпускал. Но использовал таких, не брезгуя, для другого дела. Против собственного еврейского народа.

На хорошем еврейском языке этот артист по радио и со сцены поносил все еврейское. Глумился над еврейской религией, топтал ногами еврейское прошлое. Доставлял антисемитам огромное удовольствие. А когда возникло государство Израиль, он и вовсе с цепи сорвался. Какую

только грязь он не валил на голову государства-младенца. Как он смеялся над древним языком иврит и категорически отказывался признать его языком народа.

Пока Сталину все это не надоело. Когда он ликвидировал всю еврейскую культуру, заодно пустил в расход и этого артиста. За ненадобностью. Вдову, соответственно, в Сибирь сослали.

Теперь она живет в Израиле, который так проклинал и высмеивал ее муж, пока его не прикончили сталинские молодчики. Казалось бы, сиди тихо и не рыпайся. Скажи спасибо, что никто тебя не упрекает и даже наравне с другими евреями дают, что положено.

Что вы! Не на ту нарвались. Эта дамочка устроила культ своего покойного супруга, всех евреев в мире заставляла вместе с ней молиться на его святой лик. Она летает на самолетах, как ведьма на метле, и сгребает дань именем покойника. Пишет книги о нем, статьи о нем, заставляет евреев отмечать все даты его славной жизни, дает пресс-конференции, размножила и продает его бесчисленные портреты. И евреи платят, откупаются от нее. И уже забывают, о чем, собственно, речь идет. Под нажимом напористой вдовы начинают воспринимать покойного как национального героя, достойного почестей и поклонения.

А вот — профессиональный сирота. Сироте лет под пятьдесят.

Папаша его некогда был большим начальником в ГПУ. Звучит, почти как Гестапо. И разницы, поверьте мне, никакой.

Так вот, папаша — из тех, что сменили фамилию Кацнельсон на Орлов — руководил допросами с пристрастием. Пытал и калечил арестованных по подозрению в нелояльности к советской власти и сам же любил их ставить к стенке.

Хорош папаша. Ничего не скажешь. Потомство может гордиться. Но у него была одна слабость, которая придает ему особую привлекательность в глазах мирового еврейства. Больше всего он обожал расправляться с заключенными еврейского происхождения. Чтоб показать

свою объективность и отсутствие всяческих сантиментов.

Сначала он, как гончий пес, охотился за богатыми евреями и безжалостно расстреливал их за то, что были они эксплуататорами и почему-то не питали большой любви к рабоче-крестьянской власти.

Потом он ломал кости евреям из бедных, вступившим в партию большевиков и заподозренным в неискренности и двурушничестве. Тоже отправлял на тот свет, увеличив их вес на девять грамм свинца.

Потом стрелял евреев как врагов народа — английских, японских, польских и каких только хотите еще шпионов.

А сам становился все знаменитей и страшней. Им уже бабушки непослушных внуков пугали.

Потом...

Потом Сталин его расстрелял, как делал это и с другими, назвав его посмертно и врагом народа, и английским, японским, польским, и каким хотите шпионом. И присо-вокупив еще нечто новенькое — еврейский буржуазный националист.

И вот теперь евреи мира получили профессионального сироту, чей папаша сложил голову за еврейское дело. Этот сирота потрясает именем отца, требует и клянчит. А люди слишком совестливы, чтобы угомонить сынка, ткнуть его носом куда следует. И дают. Откупаются.

Я имел сомнительную честь с ним в одно время получить квартиру в Иерусалиме и сам слышал и видел, как тыча всем в нос своего отца, он требовал себе на комнату больше, чем положено по израильскому стандарту. Потому что он не как все. Потому что его отец — крупнейшая личность в еврейской истории.

И вырвал все, что требовал.

Потому что он — профессиональный сирота.

Есть другие профессионалы. Меньшего калибра. И скажу откровенно — они вызывают у меня симпатию.

В последние годы евреи взяли моду устраивать голодные забастовки. В знак протеста. Поводов для этого предостаточно, так что требуется большой штат согласных публично поголодать за наше правое дело. И тогда появились профессиональные голодовщики.

Я знал одного такого. Он приходился то ли дядей, то ли тетей одному узнику Сиона, то есть еврейскому парню, отбывавшему срок в Сибири за сионистские дела.

Этому дяде понравилось кататься по всему миру за казенный счет, видеть свой не совсем тощий портрет в газетах и при этом парочку деньков поголодать под сочувственные стоны еврейских общин.

Он объявлял голодовку по любому поводу. А потом даже и не интересовался самим поводом. Раз надо — голодаем. И, соответственно, протестуем. А за что или против чего, это начальству виднее.

Он стал профессионалом и, как любой квалифицированный специалист, имел свои производственные секреты. Например, разыскал какие-то тюбики с питательной пастой и втихаря давил их из рукава в рот, делая вид, что выгирает потрескавшиеся губы. И до того наловчился, что на этой питательной смеси обзавелся солидным брюшком, которого раньше не имел, даже отдыхая в санатории.

Но эти тюбики в рукаве и подвели его, сломали его международную карьеру профессионального голодовщика. Вы думаете, кто-то обнаружил фальшивку или он публично выронил тюбик, и его поймали с поличным? Что вы! На таких пустяках дилетантов ловят. Он же был профессионал. И с большим стажем.

Подвели его тюбики с питательной смесью самым непредвиденным образом. Эта смесь, кроме брюшка, подлила, как говорится, масла в огонь. Пробудила в уже дряхлеющем дяде давно угасшие мужские силы.

Он голодал в Нью-Йорке перед зданием Генеральной Ассамблеи. Не один. А с какой-то еврейской дамочкой, мужу которой советские власти мешкали выдать выездную визу. Он был профессионал, она — дебютантка, новичок. И это испортило всю кашу.

Считается, что от голода человек слабеет, и поэтому нью-йоркские евреи уложили их рядышком на две раскладные кровати, окружив соответствующими плакатами с протестами и гневными призывами.

Днем все шло как надо. Сверкали блицы корреспондентов, стрекотали камеры телевидения, американские

еврейки собирали у прохожих подписи под петицией, дядя, как выученный урок, отвечал за себя и за соседку на вопросы журналистов.

Все испортила ночь.

Они остались вдвоем на своих раскладушках под звездным небом Нью-Йорка, в тени небоскреба Объединенных Наций. Даже полисмены, кончив дежурство, ушли, оставив их голодать наедине.

То ли к ночи опьяняюще запахла резеда на лужайке перед небоскребом, то ли речной воздух с Ист-ривер ударил в голову, но в дяде пробудился самец, темпераментный и любвеобильный.

Десятки высосанных втихую тюбиков сделали свое дело. Со сдвоенным рыком дядя сгреб дремавшую от слабости соседку и едва не совершил акт насилия, не оказавшись рядом полицейского патруля. Два дюжих ирландца с трудом оторвали голодного дядю от голодной жертвы, на которой от юбки остались жалкие клочья, а кофточка вместе с бюстгальтером были потом при обыске обнаружены у дяди за пазухой.

Разразился скандал. Голодную забастовку пришлось свернуть. Только заступничество еврейских организаций спасло профессионального голодовщика от тюрьмы, а возможно, чем черт не шутит, и от электрического стула.

Как примечание, могу сказать, что мужа этой дамочки советские власти тотчас же отпустили в Израиль, словно испугавшись за ее нравственность, если ей придется еще раз голодать.

Дядю списали из штата голодающих, и теперь он ведет нормальный образ жизни, без политики, и даже похудел, вернувшись к прежнему весу.

Чтоб закончить с профессионалами, я расскажу вам об одном славном малом, который присоединялся к каждой голодной забастовке у Стены Плача в Иерусалиме. Абсолютно добровольно, никакими комитетами не приглашаемый. И по любому поводу: то против советских властей, не выпускающих евреев в Израиль, то против израильских властей, проявляющих недостаточное гостеприимство к советским евреям. Всякий раз, пронюхав о готовящейся голо-

довке, он появлялся у Стены Плача с одним и тем же плакатом, написанном на трех языках: иврите, русском и английском. Текст был, примерно, такой: «Буду голодать, пока не добьюсь своего».

Он садился со своим плакатом рядом с другими голодающими и самоотверженно высидивал до конца забастовки. Текст его плаката был оригинальней других, и его чаще других снимали для телевидения и газет.

Я как-то забрел туда во время очередной голодовки, и так как я человек любопытный от природы, не удержался и спросил того малого, что он хочет сказать своим плакатом.

Вы знаете, что ответил мне этот честняга?

— Буду голодать, пока не похудею на двадцать кило. Такова моя цель. Советы врачей не помогли. А здесь и результат верный и общественная польза.

Честно признаюсь, я влюбился в этого парня, и стал гордиться тем, что я, как и он, еврей.

Какая кристальная чистота! Какое бескорыстие! И никакой демагогии.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Я откровенно скажу, здесь не собрание, нас никто не слушает и даже не подслушивает, можно не кривить душой: я не идеалист и не борец. И попросите вы меня добровольно пойти умереть за общее благо, за светлое будущее, за мир во всем мире, я вам отвечу: извините, нема дурных, поищите кого-нибудь другого. Не хочу, не надо, дайте мне спокойно умереть своей смертью, в моей собственной кровати.

Самому красивому и пышному некрологу в газете, начинающемуся словами: «Он пал на боевом посту...», — я предпочел бы что-нибудь попроще, вроде: «Нелепый случай вырвал из наших рядов...» или «Тихо скончался наш незабвенный...» или даже «Коллектив парикмахерской

треста бытового обслуживания выражает глубокое соболезнование...»

Я не хочу, чтоб над моей могилой давали прощальный салют ружейными залпами и чтоб, как говорится, к ней не заросла народная тропа. Не надо! Ради Бога! Дайте мне зарыться поглубже в мою могилу, и не слышать и не видеть, как сходит с ума этот полоумный мир. Я хочу, наконец, отдохнуть и успокоиться и угостить собой червей, которые, как и все живое, нуждаются в питании. — если они, конечно, не антисемиты и не побрезгуют моим еврейским происхождением.

И еще одного хотел бы я после своей смерти. если кто-нибудь посчитается с последним пожеланием усопшего: чтоб неизвестные хулиганы не надругались над могилой, как это в последнее время часто случается. и чтоб горсовет не увез надгробный камень под фундамент для детского сада.

Уважьте бранные останки, потому что при жизни покойного не слишком баловали вниманием и заботой.

Следовательно, я не идеалист и не герой, и, пожалуйста, принимайте меня таким, какой я есть. При моем росте смешно лезть в герои. Даже амбразуру дзота не закроешь своей грудью по той причине, что не дотянешься. Женщин моего роста называют миниатюрными, а мужчин... Ладно, замнем для ясности.

В войну я немало натерпелся из-за своего роста. Я всегда шагал замыкающим в строю — ниже меня не было курсанта в Курганском офицерском пехотном училище. Шинель у меня волоклась по земле, я сам наступал на свои полы и падал, — обмундирование было стандартное, и под рост не подгоняли.

В училище ставили любительские спектакли на патристические темы. В одной пьесе по ходу действия нужен был мальчик-подросток, лет тринадцати, и я его играл. А моего папу играл другой курсант, Ваня Фоняков, который был на два месяца моложе меня, но вдвое шире и выше. И при этом я уже брился, а у Вани еле пробивался светлый пушок.

В этой пьесе была трогательная сцена: я провожал сво-

его папу, Ваню Фонякова, на фронт. Он, как перышко, вскидывал меня на свои аршинные плечи и бегал со мной по сцене, а я тоненьким детским голоском пищал:

— Папуля, убей немца! А Гитлера привези живым, мы его в клетку посадим!

Мой папуля, то есть Ваня Фоняков, отвечал ломающимся басом:

— Будет сделано, сынок! Разотрем фашистов в порошок!

Тонкий текст. Шекспир военного времени.

Публика визжала и плакала от восторга, потому что была нетребовательной и благодарной. Состояла эта публика из наших курсантов и их Дульциней из вольнонаемной обслуги.

На Ване Фонякове я остановлюсь подробнее. Это не был гигант мысли. Отнюдь! Он был классический дуб: по всем дисциплинам — общеобразовательным и даже армейским — учился из рук вон плохо и неделями не вылезал из-под ареста то за драку на городской танцплощадке, то за пронос спиртного на территорию училища. Его даже не хотели аттестовать ванькой-взводным, то есть младшим лейтенантом, но я помог своему папуле на экзаменах. Написал два сочинения — одно за Ваню, и по его просьбе вставил четыре грамматических ошибки, чтоб не обнаружили подлога. Ваня получил младшего лейтенанта и с первой оказией отправился на фронт.

Зато на фронте он оторвал Золотую звездочку Героя и из всего нашего выпуска достиг самых высоких чинов. Вы знаете, кто сейчас Ваня? То есть Иван Александрович Фоняков? Генерал-лейтенант!

У нас с ним произошла встреча, — как это называется? — встреча боевых друзей! Много лет спустя. Совсем недавно. Перед моим отъездом из России. Вы сейчас получите пару веселых минут.

До этого мы друг друга в глаза не видали и, честно говоря, не очень интересовались. Потому что где парикмахер Аркаша Рубинчик, а где генерал-лейтенант Иван Александрович Фоняков?

Надо же было такому случиться, чтоб генерал Фоняков остановился именно в нашей гостинице и спустился в па-

рикмахерскую побриться именно в мою смену и из восьми кресел сел не в какое-нибудь, а в мое.

Прошло почти тридцать лет. Изменился я, изменился он. Сидит в моем кресле толстый генерал, весь в золоте и с рожей запойного пьяницы. Я таких брил на моем веку сотни. Все — на одно лицо. Как будто их одна мама родила и одинаковые цапки на грудь повесила.

Я же хоть и не подрост за те годы, но в белом халате, да еще с изувеченным черепом не очень смахивал на того курсанта Курганского пехотного училища, который всегда замыкал колонну на занятиях по строевой подготовке.

Намылил я его багровые щеки, поднял бритву, беру двумя пальцами за кончик красного носа и тут, как пишут в романах, наши взгляды встретились.

— Аркашка! — издал он не то стон, не то вопль, и мыльная пена запузырилась на его губах.

— Ваня, — тихо сказал я, уронил бритву на пол, и слезы брызнули у меня из глаз. Я заплакал, как тот мальчик в любительском спектакле, провожавший папу на фронт.

— Аркашка! Друг! — генерал сорвал с себя простыню и, как был в мыле, выскочил из кресла. схватил меня в охапку, стал мотать по всей парикмахерской, потом с медвежьей силой прижал мою голову к своей груди, и я больно порезал лоб и нос об его ордена и медали.

— Кончай ночевать! — скомандовал генерал. — Закрывай контору!

И всех, кто был в парикмахерской — и подмастерьев, и клиентов — гурьбой повел в ресторан за свой счет, чтоб отметить встречу боевых друзей. В ресторан набилось человек пятьдесят, половина совсем чужих — увязались за нами по пути.

Ну, и дали мы дрозда! Дым коромыслом! Люстры звенели!

Генерал толкнул речь в мою честь, а я сижу как именинник, весь в крови от объятий с его медалями, и наша манекюрша Зина салфетками стирает с меня эту кровь.

— Однажды он спас меня, — со слезами сказал гене-

рал Фоняков, и все дармоеды, жравшие и пившие за его счет, загудели:

— Аркадий Рубинчик спас генералу жизнь на фронте. Вы слышали? Это — наш человек! За русское боевое товарищество! За наших славных воинов!

Ваня, конечно, имел в виду сочинение с четырьмя ошибками, которое я ему написал и спас будущего героя от провала на экзаменах.

Но нахлебники жаждали подвигов.

Единственное, что они сполна получили, кроме коньяка и жратвы, было незабываемое зрелище. Такое увидишь не каждый день.

В полночь, в самом центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля, по улице Горького, где полно иностранцев и стукачей, расталкивая прохожих и останавливая автомобили, неся огромный русский генерал при всех регалиях с маленьким окровавленным евреем на плечах и вопил, как резаный:

— Будет сделано, сынок! Разотрем фашистов в порошок!

Я много не пью и рассудка не лишился, сидя на генеральских погонах, только по фронтовой дружбе подкидывал реплики, стараясь не слишком кричать:

— Папуля, убей немца! А Гитлера привези живым, мы его в клетку посадим!

Один свидетель потом в милиции утверждал, что я еще провозглашал сионистские лозунги, вроде «отпусти народ мой» и насчет исторической родины. Но из уважения к генеральскому званию в протокол это не вписали, а слегка пожурив нас, отпустили, то есть, отвезли в гостиницу, где мы проспали в обнимку почти сутки, и я еле остался жив, потому что генерал своей тушей чуть не придушил меня как котенка.

У меня нет претензий к моему росту. Он мне, можно сказать, жизнь спас. Вы будете смеяться, но это так. И если бы не мой маленький рост, мы бы с вами сейчас не беседовали в этом прекрасном самолете, и я бы не имел удовольствия общаться с таким чутким собеседником. Чего греха таить, в наше время найти человека, который

слушает и не перебивает и не лезет со своими историями в самом интересном месте рассказа—это подарок судьбы.

Как вам уже известно, все мои университеты — ускоренный выпуск офицерского пехотного училища. Средняя школа плюс год усиленной строевой подготовки. На втором году войны, в самое нехорошее время нашего отступления, меня аттестовали младшим лейтенантом, подогнали под мой рост офицерское обмундирование. отыскали сапоги детского размера — и я загремел на фронт командиром пехотного взвода.

На какой фронт? Хуже не придумаешь. Волховский фронт. Гиблое место. Болота, леса. Убыль живого состава — самая высокая по всей Красной армии.

Прибыл я на место, и старшина повел меня по ходу сообщения в расположение взвода. До взвода я так и не дошел и до сих пор не знаю, кем мне предстояло командовать.

Мы шли по глубокой траншее, где по колено стояла гнилая вода, а из нее торчали пустые патронные ящики. Мы прыгали по этим ящикам, стараясь не провалиться. Старшина, согнувшись, я — в полный рост. Мне хватало глубины.

Старшина же тем временем вводит меня в курс дела. Вы, говорит, товарищ младший лейтенант, из окопа не высовывайтесь. Тут кругом снайперы.

Ни для кого не секрет, что евреи совсем не страдают отсутствием любопытства. Стоило старшине упомянуть про снайперов, как я тут же спросил:

— Где снайперы?

И вскочив на высокий ящик, выглянул из окопа. И это было последнее, что я сделал на фронте.

Снайпер угодил мне в лоб чуть по касательной и снес краешек черепной кости над бровью.

Больше я на фронт уже не попал. Был зачислен в инвалиды второй группы. И, как видите, жив. Так чему же я обязан своим спасением? Маленькому росту и чуть-чуть еврейскому любопытству. Иногда это совсем уж не такая плохая вещь.

Какие у меня остались впечатления, самые первые и самые острые впечатления от долгожданной встречи с исторической родиной?

Извольте, могу вспомнить. В любом случае, это...

... и не полный самолет евреев, плачущих и всхлипывающих при виде открывшейся панорамы Тель-Авива, когда мы шли на посадку. Я, кстати, тоже пустил слезу и почувствовал в тот момент усиленное сердцебиение. Мы — чувствительная нация, ничего не попишешь. К тому же, слишком много надежд мы связывали с вновь обретенной Родиной...

... и не седобородые старцы, как библейские пророки, горжественно сходявшие по трапу с современного лайнера марки «Боинг» израильской авиакомпании «Эл-Ал» на землю обетованную и тут же, у трапа, приникавшие к ней устами, поискав на бетоне место почище, без плевков и окурков...

... и не израильские чиновники, скучные и заспанные, пересчитывавшие нас, как стадо овец, и загонявшие в тесные загоны, как в пересыльной тюрьме в России при выгрузке очередного эшелона арестантов. При этом вид у них был еще более враждебный, чем у украинских вертухаев, то-есть, конвоиров. От чего энтузиазм остывал с каждой минутой. И кое-кто уже в аэропорту с завистью поглядывал на взлетающие самолеты и с мысленным облегчением видел себя их пассажиром...

Нет. Не это осталось в памяти. И не от этого ёкает у меня в груди, когда пытаюсь вспомнить, что же меня больше всего поразило поначалу в Израиле. Один мой клиент, известный художник, любил, сидя в парикмахерском кресле, поучать меня, пока я воевал с его шевелюрой, что самое характерное выражается в символах.

Так вот. Одно незначительное происшествие, случившееся со мной и еще тремя такими же чудаками вскоре после нашего приезда, я считаю абсолютно символичным.

Мы еще без году неделя были в этой стране и вдруг

страшно захотели поехать к морю и с разбегу плюхнуться в наше родное еврейское море, лучше которого, конечно, нет на земле. Сказано — сделано. Раздобыли где-то автомобиль и помчались вниз с Иудейских гор к теплым ласковым волнам Средиземного моря.

Были мы в состоянии, которое врачи называют эйфорическим. Что бы нам ни встретилось на пути — мы начинали скулить от умиления, и розовые слюни заливали наши подбородки.

Ах, смотрите, дерево! Наше еврейское дерево! Посаженное нашими еврейскими руками. Ах, асфальт! Наш еврейский асфальт! Ах, мост! Наш еврейский мост! Ах, домик на горе! Наш еврейский домик на нашей еврейской горе!

Вы знаете, я бы не сказал, что это очень смешно. Какой комплекс неполноценности должны были выработать у нас антисемиты за две тысячи лет проживания в гостях, какими дефективными нас приучили считать себя, если четверо взрослых людей приходят в телячий восторг от каждого пустяка, сотворенного евреями, — подумать только! — своими собственными руками. От одного этого уже не хочется жить на свете.

Но не будем отвлекаться. Потому что четверо идиотов в националистическом угаре, как пишется в советских газетах, промчали через дюны прямо к морю. Действительно, красивому и, действительно, большому. Даже с парходом на горизонте.

Мы скакали, как дикари, и путались в трусиках и майках, спеша поскорее раздеться. Кругом не было ни души, и мы сорвали с себя все и в чем мама родила побежали вприпрыжку по нашему еврейскому песку к нашей еврейской воде.

Вода была теплая и соленая, и наши тела закачались на волнах, как в колыбелях.

--- Самая теплая вода в мире!

--- Самая соленая!

--- Самая ласковая!

Мы вопили от наслаждения и с каждой минутой все больше дурели от восторга.

Когда же мы вышли из воды, наша радость померкла. Мы походили на чернокожих дикарей, заляпанные с ног до головы пятнами мазута. И от нас остро воняло нефтью. Одним словом, будто выкупались в дерьме.

Живая картинка. Как говорят, с натуры.

Символично, неправда ли? Вот так, скуля от восторга, мы бросились в объятия к Израилю и вышли из этих объятий, словно нас ведром помоев окатили.

А кто в этом виноват? Да никто. Мы ожидали одного, а Израиль — это совсем другое. И не самое лучшее в мире. А так, серединка на половинку, и хромает на обе ноги и даже на голову.

Я сделал такой вывод: пока евреи жили в изгнании, среди других народов, где их всегда, скажем мягко, недолюбливали, они старались, из кожи лезли, и работать лучше остальных, и вести себя примерней, чтоб — Боже упаси — не навлечь на себя гнева, не вызвать косых взглядов. Построили свое государство, стали сами у себя хозяевами и распоясались. Крой, Ваня, Бога нет! Мы у себя дома, кого стесняться?

Превращение еврея в израильтянина начинается с того, что он перестает стесняться окружающих. В этой стране, если вы встретите человека, аккуратно одетого, значит, это турист. Туземный еврей ходит так, будто он спал в этой одежде и еще забыл причесаться. Нижнее белье торчит из-под рубашки, трусики лезут наружу из штанов.

А чего стесняться? Мы же у себя дома. Здесь нет анти-семитов.

Почти вся страна, будто ее эпидемия охватила, ковыряет в носу. Указательным пальцем. Запустив его глубоко-глубоко. До аденоидов. А когда их нет, то попадают в мозг.

Человек сидит за рулем, палец свободной руки — в носу. Читает газету — ковыряет в ноздре. Мама гуляет с ребенком: и ребенок, и мама втянули пальцы глубоко в нос, будто магнит их всосал. Даже влюбленные парочки, никогда бы не поверил, если б не видел сам, своими глазами, убирают пальцы из ноздрей лишь когда надо целоваться.

Вам смешно, а мне грустно. Потому что пока не попал

в Израиль, верил, что народ наш — один из самых культурных, что мы — народ Книги. С большой буквы. Теперь, на основе моего международного опыта, я должен признать, что мы далеко не те, за кого нас принимают даже наши друзья. А что касается Книги, то нас больше интересует чековая книжка.

Такова се ля ви. Как говорят французы. И один мой бывший клиент. Теперь — гражданин Израиля. В прошлом он был крупным советским юмористом, а когда власти позволяли, то и сатириком. Его выступления с эстрады даже в голодные годы, при карточной системе, вызывали здоровый советский смех в зале.

Это он своим острым сатирическим взглядом заметил и мне показал, что в Израиле все поголовно не вынимают палец из носа. Сатирик! Ничего не попишешь.

Кстати сказать, он этот факт пытался обыграть и даже заработать на пропитание. Был там конкурс различных эмблем, и он послал туда проект нового герба государства Израиль. Еврейский с горбинкой нос в профиль, проткнутый снизу насквозь перстом. И, конечно, обрамление: венок из апельсиновых веток с золотыми плодами.

Премии он не получил, но зато куда следует его звали и отечески спросили, не агент ли он КГБ и не собирается ли бежать из Израиля, не вернув долги Сохнуту.

Юморист из России Израилю не очень понадобился. Здесь есть один Эфраим Кишон, и на маленькую страну его предостаточно. Нашему же юмористу подыскали довольно хлебную работенку. В погребальном обществе. У нас это называется: похоронное бюро. Нельзя сказать, что работа непыльная — все же приходится могилы рыть в скальном грунте. И даже рвать динамитом. Но зато есть свой бутерброд. И даже с маслом. И даже с кошерной колбасой.

Чувства юмора на новом поприще он не лишился. Погребальное общество держат в руках люди религиозные, и, принимая его на работу, попросили не анкету заполнить, а спустить штанишки, дабы подтвердить свое еврейское происхождение. Поскольку следов обрезания обнару-

жить не удалось, над ним, голубчиком, совершили древний и кровавый обряд в преклонном возрасте, после чего он два месяца ходил раскорякой, как моряк по суше после шторма.

Любопытные, которым во младенчестве тоже не удосужились кое-что отрезать, с замиранием сердца спрашивали:

— Вам это сделали под наркозом?

Бывший юморист, не моргнув, отвечал:

— Нет. Под микроскопом.

В последнее время его юмор стал приобретать профессиональный, похоронный характер. Своему бывшему соседу по Дворянскому гнезду, которого тоже угораздило вляпаться в Израиль, он дал дружеский совет, вводя в курс местных обычаев:

— Все новоприбывшие пользуются скидками и привилегиями только первые три года. Не платят налогов, учат детей бесплатно в школе. И хоронят их за счет мирового еврейства.

Похороны за свой счет в Израиле — дорогое удовольствие. Можно разорить вдову до конца ее дней.

— Поэтому, — пояснил юморист, — важно уложиться в эти три года. Можно умереть хоть за день до истечения законного срока. Этого тоже достаточно, и у вдовы не будет повода проклинать своего покойного супруга-шлимазла, который даже умереть во время, и то не смог.

Это шуточки. А если всерьез, так после того, что было, на приличном расстоянии, когда все плохое забывается, я вспоминаю об Израиле с тоскливым чувством. Начинает сладко и печально ныть под ложечкой. Появляется чувство какой-то вины, и к глазам подступают слезы.

Так вспоминают больного родственника, незадачливо-го, не любимого соседями, одинокого как перст, и для тебя тоже единственного на всей земле.

И вот послушайте, какая другая символическая картинка возникла передо мной, когда, не чуя ног под собой от счастья, я удирал из Израиля, уже сел на пароход, и он, загудев, отчалил, и Хайфа стала удаляться, и никто за мной не гнался и не требовал выплатить долги мировому

еврейству. Я сидел на палубе греческого парохода, и израильский берег растворялся в дымке за бортом, и из всего, что я пережил на том берегу, в памяти возникло лишь одно.

Я приехал в гости в Мевасерет Цион — маленький поселок для новых репатриантов в Иудейских горах под Иерусалимом. Мой друг встретил меня на автобусной остановке в прорубленном в скалах ущелье и повел по асфальтовому серпантину, чтобы по мостику перейти на другую сторону шоссе.

На автостраде машины кишели как муравьи, а на перекинутом высоко мостике и на самой дороге к поселку было пустынно в этот час. Потом вдаль показалась автомашина, большая и дорогая. Кажется, «Кадиллак». А впереди неслись на сверкающих никелем мотоциклах два дюжих парня в черных кожаных куртках и галифе и в белых пластиковых шлемах.

— Это — президент Израиля, — почтительно сообщил мой друг. — Тут, в горах, его дача, и он каждое утро в сопровождении охраны едет в Иерусалим в свою резиденцию.

Мы сошли с дороги и остановились, чтоб пропустить кортеж, а заодно поближе рассмотреть президента еврейского государства, которого я знал лишь по газетным портретам, и он мне казался очень похожим на старенького детского доктора, как их рисуют в сказках для детей.

При виде сверкающих мотоциклов сопровождения и черного лака шикарного автомобиля я невольно подтянулся как бывший офицер, вытянул руки по швам и от волнения и торжественности почему-то захотел затянуть негромко, хотя бы шепотом, государственный гимн.

«Кадиллак» с мотоциклами впереди миновал мостик, а мы ждали его на повороте, круто уведившем асфальтовую ленту вниз, к автостраде. Мотоциклисты лихо заложили глубокий вираж, наклонив машины под опасным углом. И один мотоцикл, потеряв равновесие, шлепнулся на асфальт чуть не под колеса «Кадиллака», чудом успевшего затормозить. Белый пластмассовый шлем охранника покотился по насыпи. Сам охранник лежал на земле

и морщился, потирая рукой в черной перчатке ушибленное плечо.

В черном «Кадиллаке» открылась дверца, и на асфальт неуверенно ступил седенький еврейский дедушка в черной старомодной шляпе и таком же пальто, засеменил к упавшему мотоциклу, кряхтя опустился на одно колено и прижал к себе голову своего незадачливого стража. Дюжий парень, затянутый в черную кожу, стал всхлипывать на его плече, а он гладил его кудрявую голову, совсем, как своему внуку. Выглядело это все нелепо и комично, как в еврейском анекдоте, но поверьте мне, вместо того, чтобы рассмеяться, я чуть не заревел в голос. Потому что такое можно увидеть только в еврейском государстве, непохожем на все остальные. И до своих последних дней я никогда не забуду этой картины: плачущий солдат, ушибший плечо, и глава государства, утешающий его, как дедушка.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Как разрешить ближневосточный конфликт? Как примирить арабов и евреев? Вы знаете как? Кто-нибудь знает?

Можно с ума сойти, когда каждый день об одном и том же пишут все газеты, кричит радио, да и в телевизор заглянешь — не станет легче. Будь я не евреем, я бы только за то, что они отнимают у меня столько времени, не дают спокойно жить на земле, возненавидел бы лютой ненавистью и арабов, и евреев и пожелал бы им вместе провалиться — с глаз долой!

Дипломаты уже много лет на этом деле имеют свой кусок хлеба. Громыко и Киссинджер когда-нибудь выколуют друг другу глаза. Америка с одной стороны, а Советский Союз — с другой всаживают в это проклятое Богом место, как в бездонную бочку, миллиарды денег и черт знает сколько оружия. Все, кто только может, подливают масла

в огонь. А решением проблемы и не пахнет, и каждый, как цыганка, гадает, что произойдет там в ближайшее время. И если вспыхнет война, то когда? И если вмешаются великие державы, то будет ли третья мировая война? А если будет, то применят ли атомное оружие и взорвут к чертовой бабушке весь земной шар, совершенно забыв, что все началось из-за того, что какие-то арабы и какие-то евреи не могли поделить маленькую Палестину.

Я не дипломат. Я не Киссинджер и, тем более, не Громыко. Я — простой человек, и мое имя, Аркадий Рубинчик, ровным счетом ничего не говорит мировому общественному мнению.

А зря.

Под моим продырявленным немецкой пулей черепом залегают не совсем уж прямые извилины, и по ним, если нет других забот, пробегают иногда довольно интересные мысли. Потому что я — наблюдательный. У меня острый глаз. И это отмечали не раз еще в Москве мои постоянные клиенты из Дворянского гнезда — писатели и художники, которых в СССР совсем не зря называют инженерами человеческих душ.

Дипломаты сидят за круглыми столами, смотрят друг на друга и, кроме очков и лысин, ничего не видят. Я же хожу по земле и, если меня ничто не отвлекает, наблюдаю жизнь. И должен вам заметить, делаю порой весьма любопытные наблюдения.

Конечно, я не могу сказать, что я знаю, как разрешить ближневосточный конфликт. Но, живя в Израиле, правда, не очень долго, я кое-что успел заметить, и это наводит меня на размышления.

Вот вам две сценки, которые я видел собственными глазами. В обоих случаях были и евреи, и арабы, и никакого конфликта я не обнаружил, а скорее всего, наоборот. Поэтому не поленитесь выслушать. Заодно это обогатит ваши знания о жизни в такой, ни на что не похожей стране, как Израиль.

Представьте себе на минуточку Иерусалим — город, который весь остроен из желтоватого камня и поэтому при определенном освещении кажется золотым. Из этого

камня продолжают строить и сейчас, и арабы в своих белых платочках с черными жгутами на голове таскают обтесанный песчанник и складывают стены все новых и новых домов. Потому что Израиль живет надеждой: понемногу все евреи съедутся сюда, и понадобится множество квартир. Поэтому арабы строят, а евреи не спешат ехать, и тысячи готовых квартир стоят пустыми.

Но разговор сейчас не об этом.

Арабы работают вручную, самым примитивным образом. Песок таскают в брезентовых ведрах, камень — на собственном горбу. Двигаются медленно, как сонные мухи. Командует ими еврей. Сабра. Десятник, очевидно. Молодой, в шортах и сандалиях. Волосатые ноги, волосатая грудь. Выражение лица — никакого.

Сабра — это бывший еврей. Точнее, человек, родившийся от евреев, приехавших в Палестину. От нормального еврея он отличается полным отсутствием еврейских качеств. Как-то: чувства юмора, мягкости, сентиментальности, живости ума. Что же он приобрел взамен этих качеств, знают только еврейский Бог и отдел пропаганды бессменно правящей партии МАПАЙ.

На стройку приехал грузовик-самосвал с точно таким же саброй за рулем. Как будто оба отштампованы на одном конвейере. Грузовик привез песок для бетономешалки и высыпал целую гору не в том месте, которое облюбовал для него сабра-десятник.

Оба сабры — шофер и десятник — стали выяснять отношения. В отличие от евреев, им не понадобилось долгих предварительных пререканий, чтоб взалкать крови. Обменявшись парой слов, они ринулись, как бизоны, друг на друга. Один — схватив тяжелый молот, коим арабы дробили камень, другой — подняв увесистую глыбу желтого песчанника, коим облицован наш золотой Иерусалим.

Еще миг — и треснут черепа, и хлынет фонтаном кровь. Еврейская кровь! Драгоценная, хотя бы потому, что ее так мало осталось на этой земле.

И тут на обоих сабр прыгнула и повисла на плечах и руках целая куча арабов. В своих белых платочках с черными жгутами, в рваных, до земли, хламидах. Повисли,

загалдели по-арабски, хором, наперебой, как стая птиц. Я не знаю арабского, но по голосам понял, что эти арабы умоляли двух очумевших евреев не драться и не проливать крови. Еврейской крови, которой так мало осталось.

Они развели евреев в разные стороны, своими спинами отгородили друг от друга, уговорами и ласковыми прикосновениями рук остудили вспышку гнева.

Конфликт был исчерпан. И мне в этот момент очень остро захотелось, вы знаете, чего? Чтобы Киссинджер и Громько сидели на моем месте и все это видели. Мне было бы очень любопытно спросить потом их мнение.

Другой случай.

Стена Плача, как известно, еврейская святыня, и я, упаси Бог, не собираюсь смеяться или кощунствовать над этим. Потому что я уважаю чувства верующих, какому бы Богу они ни молились: и тем более, когда речь заходит о евреях.

Стена Плача, насколько мне известно, это все, что осталось от разрушенного две тысячи лет тому назад Храма Соломона. Я могу себе представить, какой это был грандиозный храм, если только уцелевшая часть — высотой в пять человеческих ростов и выложена из обтесанных, конечно, вручную базальтовых глыб, каждая из которых весит не одну тонну.

Тысячи лет лежат эти камни друг на друге, без цемента, скрепленные своей тяжестью, и тысячи лет евреи тянутся сюда и самозабвенно молятся, изливая Богу все, что накопилось на душе. А так как веселого у евреев испокон веков было мало что вспомнить, то отсюда и понятно, почему эти камни называли Стеной Плача.

Евреи — народ поголовно грамотный, и поэтому разговаривают с Богом не только устно, но и письменно. Мужчины и особенно женщины излагают в письменном виде свои заботы и огорчения, свои скромные житейские просьбы и, аккуратно сложив записочку вчетверо, приносят к Стене и засовывают в щели между древними глыбами. Считается, что так ближе к Богу, вернее дойдет до него.

Каждый день сотни, тысячи таких записок пропихивают кончиками пальцев в священные щели евреи со всего

света. Годами. Десятилетиями. И я как-то не задумывался, какой умопомрачительной емкости должны быть эти щели, куда запихиваются тонны бумаги, и всегда остается свободное место для новых записок.

Однажды, лунной ночью, я гулял по Старому городу, пустынному и от этого совсем похожему на волшебные декорации к «Тысяче и одной ночи». На запутанных кривых улочках встречались порой лишь военные патрули: медленно бредущие израильские парни с автоматами на ремне, тоже очарованные таинственным дыханием древности.

Я вышел к Стене Плача. Только тяжелые камни громоздились высоко к небу, к двурогому месяцу, и их шершавые тесаные бока золотились в лунном свете.

На меня снизошло просветление. На какой-то миг в моей безбожной душе шевельнулось некое подобие религиозного чувства. Я мысленно увидел своих далеких предков, как они без всяких машин укладывали многотонные глыбы и возвели здесь прекрасный храм, равного которому не было до него и после.

Я стоял и размышлял, растроганный почти до слез, и поэтому не сразу заметил людей, направлявшихся к Стене. Это были арабы, судя по платочкам на головах. В руках они держали длинные железные прутья и, подойдя к Стене, рассыпались вдоль нее и со скрежетом стали шуровать этими прутьями между древними камнями. Сотни белых мотыльков вспорхнули с камней и замелькали в лунном свете. Они летали, кружились, подхваченные холодным горным ветерком, дующим здесь ночами. Новые и новые горсти белых хлопьев извлекались, выдергивались из каменных щелей железными прутьями, и скоро все пространство перед Стеной напоминало снегопад, а еще вернее — еврейский погром, когда в воздухе носится пух из вспоротых перин.

Но мой ужас быстро улетучился, как только я сообразил, что это не пух летит, а записки, засунутые евреями между камнями, в надежде вернее достичь божьего слуха. Арабы с крючьями были рабочие Иерусалимского муниципалитета и совершали свою еженощную работу: очи-

щали Стену, выковыривали из щелей бумажки. Чтоб на-
завтра тысячи других евреев нашли свободное место в
камнях, куда можно сунуть заветное послание.

Извлеченные из Стены бумажки стаями веселых мо-
тыльков кружились и плясали над моей головой, и холод-
ное дыханье Иудейских гор поднимало их все выше и вы-
ше, пока они не таяли в лунном свете. И казалось, что
небо поглощает их, что они, действительно, уходят туда,
куда посылали их евреи.

Я уже не злился на арабов за кощунственное вторжение
в сказку. Они сами вошли в нее как волшебники, как до-
брые гномы, чтоб помочь еврейским мольбам и просьбам
добраться туда, куда следует.

Это была идиллия. И я с болью в душе подумал: почему
жизнь так не похожа на сказку.

Почему ближневосточный конфликт пытаются решить
в Нью-Йорке и Женеве, а не догадаются расставить столы
мирной конференции на площади перед этой Стеной, и
чтоб все делегаты увидели евреев и евреек, сующих запи-
ски в щели, и ночной дозор арабов, возносящих эти запи-
ски к Богу.

*Над Атлантическим океаном. Вы-
сота — 30600 футов.*

Всему свое время. Надо вас немножечко развлечь. А
что лучше может позабавить двух уважаемых мужчин, чем
то, что сейчас называют сексуальными проблемами.

Я проблем никаких ставить не собираюсь. Просто по-
треплемся всласть, языками почешем.

Но это не просто истории про баб. Это часть моей био-
графии, и поэтому вы узнаете кое-какие пикантные под-
робности из жизни простого советского парикмахера
Аркадия Рубинчика. А поскольку советский человек, как
ни вертись, никуда от политики не может спрятаться, то
все, что вы дальше услышите, будет иметь и политиче-
ский оттенок, и чуть-чуть социальный, и, если хотите,

даже исторический. Потому что каждый из нас — частица народа, а народ, как завещали классики марксизма-ленинизма, — творец истории.

Я эти формулировочки наизубок знаю, потому что все парикмахеры нашего треста были стопроцентно охвачены политическим просвещением и каждый год зубрили все те же самые цитаты из Маркса и Ленина. После работы, вечерами. И от всего этого осталось одно ощущение — зверски хочется спать. Но на следующий год наш парторг Капитолина Андреевна, не спросив нас, на добровольных началах снова записывала всех в этот кружок и угрожала большими неприятностями за неявку на занятия.

Но прежде, чем рассказывать про баб, я расскажу вам за что меня судили и на два года угнали пилить лес, чтобы я за колючей проволокой прошел трудовое перевоспитание и стал полноценным советским человеком.

Началось все самым мирным образом, и ничто, как говорится, не предвещало бури. Поздним вечером, поужинав и надев свой выходной костюм, я шел по засыпающим улицам родного Мелитополя с привычным, хотя и весьма деликатным поручением. Я шел давать взятку. Не индивидуальную, а коллективную. От всего коллектива нашей парикмахерской. И кому бы вы думали? Начальнику милиции майору Губе. В собственные руки, с доставкой на дом. Пятьсот рублей наличными — ежемесячная дань, которую взимал с нашей парикмахерской товарищ Губа.

Почему мы совали взятку, это даже грудной ребенок понимает. На нашу зарплату можно только ноги протянуть. Чтобы этого не случилось и катастрофически не сократилось поголовье парикмахеров в стране, каждый советский парикмахер, беря плату с клиентов, из трех случаев в одном сдает деньги в государственную кассу, а в двух остальных кладет себе в карман. Кому не хочется, чтобы это всплыло наружу, тот должен кое-кого подмазывать. Мы не разменивались по мелочам и давали на самый верх — начальнику милиции. Это — полная гарантия, как у Бога за пазухой. А наскрести пятьсот рубчиков

с трех парикмахеров нашей точки — плевое дело. Народ сознательный, отчисляют, как налог.

Почему относил взятку я, а не кто-нибудь другой, тоже нетрудно догадаться. В масштабах Мелитополя я был к тому времени фигурой заметной, местной достопримечательностью, так как незадолго до того занял третье место на всеукраинском конкурсе дамских причесок, и мой портрет, а также статья обо мне появились в киевском журнале. У меня было больше шансов, чем у любого другого мелитопольского парикмахера разговаривать с майором Губой, не опасаясь его хамских выходок. Тем более, что я шел не брать у него взаймы, а нес ему в зубах довольно жирный кусочек.

Я шел по улице Ленина, посвистывая, и понятия не имел, что гуляю на свободе последний раз. Майор Губа проживал на этой самой улице Ленина в новом, самом шикарном в городе доме. Этот дом построили немецкие военнопленные, а у немцев, как вы знаете, качество не в пример нашему. Это был почти европейский дом в нашем захолустье. Отдельные квартиры для каждой семьи, балконы с ажурными решетками, полы паркетные, ванны с горячей водой круглосуточно и центральное отопление. В те годы это было как сказка, и героями этой сказки, то есть, владельцами ключей от квартир, становились только большие начальники. Вроде майора Губы.

Я не первый раз проделывал этот путь и обычно без всяких осложнений вручал конверт с деньгами супруге майора Губы — мадам Губе. И на сей раз она открыла мне дверь. Из дальних комнат слышался многоголосый шум. Я отдал конверт и хотел было уйти, потому что мадам Губа была вдрызг пьяна и еле стояла на ногах, отчего навалилась на меня своей могучей грудью. При моем невысоком росте ее пудовые груди плашмя опустились на мое темя, и я погрузился в них по уши, как в тесто.

— Кто там? — услышал я пьяный голос майора Губы, потому что видеть ничего не мог.

— Да этот... еврейчик... — ответила мадам Губа, качнувшись назад, и я увидел, как майор Губа в расстегну-

том кителе и в галифе без сапог подхватил ее сзади, чтобы она не плюхнулась на пол. — Деньги принес.

— Ух, жида мои, жида, бесово племя... — сказал майор Губа, и я чуть не задохнулся от коньячной вони. — Беру за вас грех на душу... перед Богом... и... и партией.

— Ваня, тащи его к нам, — позвал кто-то из комнат. — Пусть с нами выпьет. А то они нас, русских, за дураков считают, а себя умнее всех. Пусть покажет, что не брезгует.

Я человек застенчивый, и поэтому ломаться долго не стал, о чем потом очень даже сожалел.

У начальника милиции майора Губы гуляли сослуживцы. Заместитель по политической части капитан Медокин и начальник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности — ОБХСС — капитан Криница. С женами. Это были вполне натуральные украинские дамы. Полна пазуха цыцок, и такие зады, что на каждом три мильтона могли бы свободно резаться в очко и даже облокотиться обеими руками.

Я угодил в прелестную компанию. Блюстители порядка и социалистической законности были в последней стадии опьянения и, не придумав ничего остроумнее, затеяли соревнование жён.

Замполит капитан Медокин ко всеобщему ликованию назвал это соревнование социалистическим и объявил, что победительница получит переходящий красный член. Не красный флаг, как пишут в газетах, а мужской член. И не какой-нибудь, а обрезанный. Который для блага народа конфискуют они у гражданина парикмахера Рубинчика. То есть у меня.

Я смеялся вместе со всеми. Потому что думал, что это шутка. Не очень смешная, но вполне терпимая, если учесть, что ее автор — милиционер. Мне бы, дерзني я сказать такое, вlepили десять лет по статье 58. Контрреволюция. И еще с лишением прав на пять лет. А им хоть бы хны.

Они вывели своих в стельку пьяных жен на балкон, усадили в ряд на корточки, задрали юбки на головы, а трусов ни на одной из них и так уже не было. Затем ско-

мандовали мочиться — какая пустит струю дальше других.

В квартире было два балкона, и сначала бабы расселись на том, что выходит на улицу Ленина. Но замполит капитан Медокин, не терявший политического чутья даже во хмелю, сказал, что это не совсем правильно — мочиться на улицу, носящую имя великого вождя. Милиционеры спорить с ним не стали и, ухватив под мышки своих грузных жен, волоком потащили голозадое мясо на балкон, выходящий во двор, и там поставили их в боевую позицию, то есть водрузили опять на корточки.

Я — не монах. И, как и Карлу Марксу, ничто человеческое мне не чуждо. Отнюдь! Но к этому самому я отношусь с уважением и не терплю бесстыжих баб. Я начисто лишаясь мужских достоинств, когда попадаю в лапы такой особе.

Меня тошнит, когда баба берет инициативу в свои руки и командует мужчиной, как и что ему делать, чтоб ее насытость утолить. И я готов завывать в голос, когда баба делает это все на людях, нарочно показывая, что не знает стыда.

Сейчас по всему миру стало модным целоваться там, где побольше людей вокруг, лизаться, сосаться всенародно до оргазма. Я это видел в Европе и Америке на каждом шагу. В метро усидеть невозможно — обязательно напротив тебя какая-нибудь прыщавая пара вlepится губами друг в дружку, закатит глаза и давай высасывать пломбы из зубов. Жуть! Поглядев на них, можно стать импотентом на всю жизнь. Эти бесстыжие суки чаще всего такие страхолюдины, что будь я не парикмахер, а фармацевт, то рекомендовал бы высушить такую пару, истолочь в порошок и принимать перед совокуплением как противозачаточное средство. Да!

Но вернемся к балкону майора Губы, где три украинские грации с голыми задами сидят на корточках, подпираемые, чтоб не свалились, своими мужьями в милицейских мундирах и старательно мочатся через ажурную решетку в темный двор.

Все было ничего, пока майор Губа не решил осуществ-

вить на практике идею своего заместителя по политчасти капитана Медокина.

— А ну, Еврей Иванович, — обратился ко мне майор, — доставай свое обрезанное хозяйство и покажи дамам. Пусть пощупают и убедятся, что оно ничем не лучше нашего.

Я послал его вместе с дамами подальше.

Это милиционерам не понравилось.

— Отказываешься? Брезгуешь нашей компанией? Хочешь быть умнее всех? А ну, вызвать наряд милиции и взять под стражу!

Они не шутили. Позвонили по телефону, явилась куча милиционеров, заломили мне руки, увезли в участок и бросили в камеру.

Это было полнейшим беззаконием, но они сами закон в этом городе, и потому моя песенка была спета. Меня обвинили в попытке всучить майору Губе взятку. Свидетелями были капитан Медокин и Криница, а также их жены. Припаяли мне два года исправительно-трудовых лагерей, и адвокат клялся потом, что я еще дешево отделался, так как майор Губа проявил снисходительность и снял второе обвинение: попытку изнасиловать его жену.

Так я стал заключенным. Сроком на два года. В тайге. На лесоповале. Мы там мерзли, голодали и работали, как на галерах, поставляя кубометры древесины для великих строек коммунизма.

Мои нежные, мягкие руки мастера-парикмахера на глазах грубели, деревенели, покрывались мозолями, и я видел, что еще немного — и я уж никогда не смогу вернуться к своей профессии. Об этом мне сказал один знаменитый пианист, тоже заключенный, мой напарник по лучковой пиле.

— Дорогой маэстро Рубинчик, и у вас, и у меня руки — это наш инструмент, наша единственная драгоценность. Так вот, должен вас огорчить, они безвозвратно испорчены. Нам грозит профессиональная смерть.

Я не хотел умирать ни профессионально, ни как-нибудь по-другому. Я решил драться за спасение моих рук.

Все мои обращения к начальству с просьбой использо-

вать меня по назначению, по профессии, и спасти руки от гибели, вызвали только насмешки конвоя и повышение нормы на лесоповале. И тогда я обратился к не раз испытанному, всегда безотказному средству. Шерш ля фам, как с большим знанием дела определили это средство французы. Спасли меня могли только бабы. Отзывчивые, добрые русские бабы. Конечно, вольнонаемные. Жены офицерского состава лагерной охраны, тоскующие в этой глуши из-за непристойной, но денежной профессии мужей.

Библиотекарем в КВЧ — культурно-воспитательной части — работала Антонина Семеновна — жена начальника лагеря. Я стал самым заядлым читателем и вечерами до отбоя рылся в библиотеке, в журнальном хламе, среди толстых подшивок, пока не нашел тот старый номер, где был напечатан мой портрет и статья обо мне — призере всеукраинского конкурса мастеров дамских причесок. Подсунул журнал Антонине Семеновне. Она прочла, глазам не поверила.

— Так это вы, гражданин Рубинчик? Не может быть! Господи, что ж это делается? Мы тут, в этой дыре, ходим халдами, дуры дурами, а такой мастер, такой виртуоз своего дела, ворочает бревно, вместо того, чтоб наводить красоту на жен офицерского состава. Ну, и покажу я своему дуролому!

Она имела в виду своего супруга — начальника лагеря.

Дальше — как в сказке. Меня немедленно сняли с лесных работ. Дали усиленное питание, разрешили бесконвойный выход за зону. Привезли инструмент, и я стал обслуживать на дому всех жен офицерского состава.

Что я могу вам сказать? Я ненавидел людей, одетых в эту форму. Они напоминали мне майора Губу. И я мстил им, как мог.

А мог я вот что. Я приходил с саквояжем с инструментами к моим клиенткам домой, когда мужьям полагалось быть на службе. Женщины ко мне привязались. Любая благоволит к тому, кто делает ее красивой. Парикмахеров и гинекологов не стесняются. Я стал жить с ними со всеми, без исключения. От жен младших лейтенантов до Ан-

тонины Семеновны. Я похудел и осунулся, хуже, чем на лесоповале, хотя кормили они меня на убой, и каждая совала мне в карман, когда я уходил, самые вкусные куски от обеда, предназначенного супругу.

Скажу не хвастаясь, что вся женская половина семей офицерского состава души во мне не чаяла, я же испытывал жестокое наслаждение, когда валялся в сапогах на семейном ложе моих врагов, доводил офицерш до истерики и каждую заставлял поносить при мне своего мужа самыми непотребными словами. Они, как преданные рабыни, с упоением поливали помоями своих мужей и славили меня как первого настоящего мужчину в их однообразной жизни.

Чего мне было еще желать? Было чего. Досрочного освобождения. Я смертельно устал от этих баб. Я изнемогал в клетке. Я рвался на волю. Хотя воля и неволя у нас в стране понятия относительные.

И опять помогли бабы. Помимо своего желания. Мужья, эти долдоны в мундирах, стали прощупывать под форменными фуражками явные признаки рогов. Распри пошли внутри семей. Каждая из баб пригрозила своему охламону, что если меня сплавят в другой лагерь, то она потребует развода.

Мужья, не сговариваясь, нашли выход из положения. Именно тот, о котором я мечтал. На меня были составлены самые похвальные характеристики, посланы куда следует, и я оглянуться не успел, как прибыло распоряжение о моем досрочном освобождении. За примерное поведение и отличную ударную работу. Так черным по белому было написано в приказе.

Я убрался из лагеря, даже не сказав «прощай» ни одной из своих наложниц. На память им остались столичные прически. Но сколько держится прическа? Ну, месяц, от силы — два. Если не мыть головы. Сказать вам откровенно? Я льщу себя надеждой, что они меня помнят дольше. Как мужчину. Не как парикмахера.

Вот вам истории про баб. И не так уж смешные, а больше грустные. Но плохое забывается, и только хоро-

шее приходит на память. Поэтому я улыбаюсь, и вы улыбаетесь.

В Израиле каждого еврея, отсидевшего в советских лагерях, называют узник Сиона. И платят неплохую пенсию за то, что человек пострадал за свои сионистские идеалы.

Хотели оформить на пенсию и меня, но я их послал к черту. Какой я узник Сиона? За какой это сионизм я страдал? Я честный человек и не люблю примазываться к чужой славе. Мне хватит моей.

Когда я отказался от этой чести и от денег, евреи подумали, что я немножко того... малохольный. А я рассмеялся в ответ невесело. Потому что на этой земле совсем забыли, что кое у кого сохранилась хоть капля совести.

Над Атлантическим океаном. Высота — 30600 футов.

Россия... Родина... Родимая сторонка...

Если верить книгам и кино, то русский человек, или вернее, советский человек, где-нибудь на чужбине, в ужасной тоске или на смертном ложе, в последний сознательный миг непременно увидит белые березки, качающиеся на ветру, и это ему напомнит обожаемую родину.

Я еще не умирал всерьез и ни один миг не посчитал за последний, поэтому предсмертных воспоминаний у меня нет. Но я не раз, а очень даже часто болел ностальгией, тоской по родине, страдал, как одержимый, и много раз мысленно возвращался домой.

Вы думаете в таких случаях перед моим умственным взором проплывали в хороводе белые березки? Поверьте мне, ни разу. Ни березы, ни осины, ни даже чахлые зеленые насаждения на Проспекте Мира в Москве.

Для меня символ России был в другом, и этот символ каждый раз и очень отчетливо всплывал в моей памяти в натуральном объеме и даже сохраняя свой кирпичный цвет лица. Через ностальгическую муть пробивалось и возникало как образ Родины одно и то же видение: лицо

парторга нашего треста обслуживания Капитолины Андреевны — с выщипанными бровями и маленькими пороссячими глазками. С двумя подбородками (сейчас, надеюсь, появился и третий). С дешевыми чешскими клипсами в ушах.

Добрейшая Капитолина Андреевна. Матушка-заступница, но и строго взыскующая с нерадивых. Бог московских парикмахеров. Вернее, богиня. Простая русская баба, имевшая несчастье пойти на выдвижение, и потому оставшаяся соломенной вдовой. Муж от нее сбежал, по слухам, не выдержав начальственных ноток в ее голосе и казенных цитат, почерпнутых из партийных газет, которые полностью заменили ей русский язык. Тот самый великий и могучий, который, по меткому наблюдению одного классика, совмещает в себе и прелесть гишпанского, и крепость немецкого, и певучесть итальянского, и даже кое-что из языка идиш. Последнего, кажется, классик не учел.

Великий пролетарский писатель Максим Горький особо достойных людей величал так: Человек с большой буквы. Принимая за основу такую оценку, я бы нашего парторга Капитолину Андреевну определил бы так: женщина с большой «Ж». В этом была бы и дань уважения к ней как фигуре большого масштаба, и в то же время рисовался бы объемно и в натуральную величину ее правдивый портрет.

У меня нет оснований жаловаться на Капитолину Андреевну. Я не имею к ней претензий. Наоборот. Если я столько лет работал в такой привилегированной парикмахерской, в самом центре Москвы, и не потерял своего места при самых страшных кампаниях по выявлению безродных космополитов, ротозеев, низкопоклонников перед Западом, то это только благодаря заботе Капитолины Андреевны, благодаря любящему глазу, который она положила на меня. Глазу, конечно, отнюдь не материнскому.

У Капитолины Андреевны была слабость. По торжественным дням — Первого мая, Седьмого ноября, в Женский день и в День Парижской коммуны — на вечера нашего треста приглашались все парикмахеры и парикма-

херши без своих половин, то-есть, без жен и мужей, потому что Капитолина Андреевна ведь тоже приходила одна. После третьей, а иногда четвертой рюмки она непременно пускала слезу и, громко всхлипывая, сокрушалась, что Сталина больше нет, а труп любимого вождя и корифея выброшен из мавзолея, и от этого все неполадки в стране, неуважение к начальству и отсутствие трудовой дисциплины.

Парикмахеры и парикмахерши, тоже ведь после третьей рюмки, утешали Капитолину Андреевну, обмахивали салфетками ее зареванное доброе лицо и клялись крепить трудовую дисциплину и не подводить своего парторга в социалистическом соревновании предприятий общественного обслуживания.

После пятой рюмки в ее глазах появлялся хищный блеск. Я сразу съеживался и с надеждой косился на дверь: авось, успею удрать. Но обычно не успевал.

— Товарищ Рубинчик, — с металлом в голосе извлекала меня, куда бы я ни прятался, Капитолина Андреевна. — К тебе есть разговор. Поднимись ко мне наверх.

Торжественные вечера у нас обычно проходили в зале заседаний нашего треста. Партбюро располагалось этажом выше. Указание Капитолины Андреевны означало, что я должен идти туда. Зачем? Об этом знал только я. Другие, возможно, догадывались, но делали вид, что ничего не знают и знать не хотят. Это было в их интересах. Пусть Рубинчик отдувается за весь коллектив.

Капитолина Андреевна грузной походкой раздобревшей и уже в годах женщины поднималась к себе в партбюро, своим ключом отпирала обитую дермантином дверь и держала ее открытой, пока не появлялся я.

Затем она запирала дверь на ключ и на засов, ключ прятала в сумочку и устремляла на меня тяжелый взгляд, означавший: теперь, голубчик, ты никуда не денешься, и будем надеяться, что оправдаешь доверие своего парторга.

В кабинете стояли письменный стол и стол для заседаний, оба покрытые зеленым сукном. Все остальное было черным. И обивка стульев, и кресел, и большой мягкий диван. С этим гармонировал строгий костюм партийной да-

мы, который в обтяжку, со скрипом, сидел на упитанных телесах Капитолины Андреевны. И туфли, и юбка, и полумужской пиджак, и слегка игривый бантик на складках шеи были черными. Кроме белой кофточки. Да еще светлых кос, которые она заплетала по моде времен своей молодости и складывала их в три венца на макушке.

Капитолина Андреевна какое-то время задумчиво стояла, опершись рукой на несгораемый шкаф с партийными документами на фоне растянутого на стене переходящего красного знамени, завоеванного нашим трестом уж не помню, в каком соревновании. Помню только, что на знамени золотом было вышито: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и в данной ситуации это имело не совсем тот смысл, который в него вкладывали основоположники научного марксизма.

— Долго будем стоять? — спрашивала Капитолина Андреевна. — Хочешь унижить женщину?

И без рук, не наклоняясь, скребя носком одной туфли по заднику другой, сбрасывала их с ног, отпихивала под стол и с наслаждением шевелила затекшими в тесной обуви пальцами. Точь-в-точь, как деревенская девка, вернувшись с танцев.

Это был тот случай во взаимоотношениях с женщинами, который я терпеть не могу, но был вынужден подчиняться, чтоб не лишиться покровителя и не остаться без защиты в нужный момент. Наш парторг была из тех баб, которые берут всю инициативу в свои руки и даже в постели командуют мужчиной как своим подчиненным.

Весом она превосходила меня втрое, да и по габаритам была та же пропорция. Как утлый челнок на высоких волнах, качался я, задыхаясь в объятиях Капитолины Андреевны, порой взлетая под самую люстру, без особой уверенности, что приземлюсь на что-нибудь мягкое, а не на пол. При этом я безостановочно получал страстные, взаллеб, директивы:

— Так, Рубинчик! Так, негодник! Вперед, вперед! Не останавливайся на полпути! Дальше! Дальше! Вперед и выше! Так! Еще немного! Поднажмем! Подналяжем! Совместными усилиями! Как один человек! Хорошо, Рубин-

чик... Молодец, негодник... Ублажил, стервец. Дай дух перевести...

Я был скован по рукам и ногам, потому что терпеть не могу при этом самом деле иметь свидетелей. Я застенчив по своей натуре и считаю это не самым худшим качеством. Электричества Капитолина Андреевна не выключала специально, чтоб по темным окнам и отсутствию светлой полоски из-под двери народ, видевший, куда мы уходим, не подумал, что мы занимаемся черт знает чем. На меня со стен осуждающе смотрели из дубовых рам портреты руководителей партии и правительства, и это, клянусь вам, очень стесняло меня. Кроме того, у дивана стоял гипсовый Ленин, и на его лысой макушке, зацепившись кружевным полушарием, красовался сброшенный второпях необъятных размеров бюстгальтер нашего парторга. Тоже черный. Это меня смешило. А хихикнуть я остерегался, чтоб не вызвать гнева Капитолины Андреевны.

Какое уж удовольствие мог я получить от этой связи, вы можете себе представить. Быть бы живу. Подобрूपоздорову ноги унести. Зато Капитолина Андреевна получала полное удовлетворение, и как человек добрейшей и доверчивой души не скрывала этого.

Привалившись к спинке дивана, она бережно держала меня, как ребеночка на коленях, так что голова моя совсем зарывалась в ее груди, и чуть не причитала от избытка чувств:

— Ну, Рубинчик, ну, пострел. Ухайдакал бабу. Еще немного, и совсем бы в гроб загнал. Откуда в тебе такое? Не зря говорит народ: малое дерево в сук растет. Да ты, смотри, не возгордись! Будь самокритичен. Не останавливайся на достигнутом, совершенствуй свое мастерство.

И с такой бабьей неистовостью прижимала меня к себе, что я до половины влипал в ее мягкое тело.

— Б партию бы тебя, сукина сына, принять, — ворковала она. — Да не моя воля. Нынче строго насчет вашего брата... Нельзя засорять ряды.

Теперь вы понимаете, что я жил, как у Бога за пазухой, пока наш парторг нуждалась в моих услугах. Я мог работать налево, вечерами, обслуживать клиентов на дому,

как я это делал в кооперативных домах работников искусств у станции метро «Аэропорт», зажимать часть выручки в нашей гостиничной парикмахерской, одним словом — жить по-человечески, и всегда был уверен, что Капитолина Андреевна, если сможет, выручит. Как от сына ответит беду.

Ее любовь ко мне выразилась в высочайшем доверии, оказанном советскому человеку. Получив указание свыше: подобрать нужного человека из нашего коллектива, она, конечно, остановила свой выбор на мне. Мы обслуживали интуристов, и в неких органах хотели знать, о чем болтают зарубежные гости, сидя в очереди к парикмахеру. Что для этого нужно? Чтоб парикмахер хоть немножко кумекал по-ихнему, знал иностранный язык. Таких парикмахеров нет. Их надо готовить. На каждую парикмахерскую дали разнарядку выделить одного человека для прохождения ускоренного курса английского языка. От нашего коллектива партторг рекомендовала, естественно, меня, как человека политически зрелого и вполне заслуживающего высокого партийного доверия. И попала, конечно, пальцем в небо. Потому что мне совсем не улыбалась перспектива сотрудничать с некими органами, и в своей жизни я писал все, за исключением стихов и доносов. И не хотел менять этой привычки. Не хотел становиться стукачом.

До сих пор — худо-бедно, — но я зарабатывал свой хлеб с помощью ножниц и бритвы и совсем не желал совмещать эту мою профессию с еще одной, дополнительной, хотя и очень патриотичной, но нужной мне как собаке пятая нога.

Сказать об этом Капитолине Андреевне, значило нажать себе врага в ее лице и попасть в черный список со всеми вытекающими последствиями. Надо было устроить обходной маневр. Довести их до того, чтобы они сами от меня отказались.

Меня записали на ускоренные курсы английского. За счет профсоюзов. Курсы эти были сверхсовременными, по последнему методу, и это очень мне помогло.

Нас учили без педагогов и без отрыва от производства.

Учили после работы, по ночам, во сне. Мы засыпали на специальных кроватях с казенным бельем, с наушниками на голове, а от них тянулись провода к магнитофонам с долгоиграющими кассетами. Мы спали, а мужской и женский голоса нашептывали нам всю ночь английские тексты. На разные житейские темы. Считалось, по последним данным науки, что таким методом значительно легче и быстрее усваивается новый язык.

Через неделю со мной попытались заговорить по-английски экзаменаторы в штатском. В присутствии Капитолины Андреевны. В комнате партбюро с тем самым черным диваном и гипсовым Лениным.

Тут я должен сделать оговорку. Русский — это единственный язык, которым я владею. Язык моих предков — идиш — я не знаю и помню из своего детства, что на него переходили мои родители и бабушка исключительно в тех случаях, когда хотели, чтоб я не мог подслушать их разговоров.

Ночная учеба, вкрадчивые голоса, нашептывавшие мне во сне что-то на незнакомом языке, вызвали в моем мозгу странную реакцию. Из глубин, из недр памяти, словно освобожденные из темницы, всплыли в ответ запасы слов на языке идиш, заложенные в детстве бабушкой и родителями. Моим экзаменаторам я отвечал на чистейшем идиш и при этом был абсолютно уверен, что говорю по-английски.

Со мной билась два часа и ничего не добились — я говорил сплошь на идиш, даже с бабушкиными интонациями. Экзаменаторы в штатском сдались, и один из них, уходя, сказал огорченной Капитолине Андреевне, что меня не мешало бы показать специалистам-медикам, и хорошенько исследовать этот феномен. Сказал он это таким тоном, что у меня засосало под ложечкой, и еще долго потом я все ждал, что за мной явятся ночью и уведут к исследователям с Лубянки.

Но все обошлось. Возможно, Капитолина Андреевна замолвила за меня словечко. Она не изменила своего благосклонного отношения ко мне. Слова на идиш, так удачно пришедшие мне на помощь, покрутились в моей

голове и, за отсутствием практики, вновь погрузились в темницу памяти до лучших времен.

А что касается английских слов, которые мне нашептывали во сне дикторы, то они не исчезли бесследно, а зацепились в каком-то уголке моих извилин, и когда я приехал в Америку, то сходу заговорил довольно бойко глупейшими фразами моих бессонных механических учителей.

Действительно, феномен. И скажу я вам, что какой-нибудь ловкий малый из полумедиков и полулингвистов мог бы сделать на этом кандидатскую диссертацию, а мне поставить бутылку хорошего коньячку за материал для научной работы.

Вы себе можете представить, что сделалось с Капитолиной Андреевной, когда я захотел уехать в Израиль? Она сочла это двойной изменой — изменой Родине и изменой ей лично. Но я готов ей все простить за ее ответ на мою просьбу дать мне характеристику, требуемую для оформления выезда в Израиль.

Добрейшая Капитолина Андреевна, не знавшая ничего другого, кроме казенных партийных формулировок, и мыслившая по готовым стандартам, не поняла сущности моей просьбы. До того она оформляла характеристики для туристских поездок за границу, но с человеком, уезжающим из СССР навсегда, она сталкивалась впервые.

— Хорошо, Рубинчик, — сказала она, не глядя мне в лицо. — Получишь характеристику. Соберем коллектив, обсудим.

— Зачем собирать? — удивился я. — Чего обсуждать? Это же формальность. Кому нужна там в Израиле ваша характеристика?

— Ты так думаешь? — вскинула выщипанные бровки Капитолина Андреевна. — А вот для чего нужно собрание, товарищ Рубинчик. Поговорим с народом, может, люди выдвинут более достойную кандидатуру.

Милейшая Капитолина Андреевна! В ее партийных мозгах не укладывалось, что возможна поездка из СССР за рубеж в один конец — без возврата, и для этого необязательно иметь большие заслуги перед советским народом.

Она дала мне характеристику без лишних проволочек и тем самым сэкономила уйму нервной энергии, которую затратили другие евреи, выклянчивая никому, в сущности, не нужную бумажку. Она даже пожала мне руку на прощанье в своем кабинете у самых дверей, поцеловала, словно укусила, и совсем по-бабьи сказала вслед:

— Подлый изменщик.

Так могу ли я видеть белые березки, мысленно обращаясь к Родине? Конечно, нет.

Над Азорскими островами. Высота 28500 футов.

Нет, Капитолина Андреевна — партийный вождь нашего треста — была чистым золотом по сравнению с другими начальниками, с кем приходилось иметь дело уезжавшим в Израиль. Моя Капитолина Андреевна выдала мне характеристику с печатью и тремя подписями из рук в руки, наедине, и без всякой злости обозвала меня подонком, заперла изнутри дверь партийного бюро, не глядя на меня, разделась и плюхнулась в слезах на диван, чтобы на нем окончательно проститься со мной — проклятым изменником Родине и ей, Капитолине Андреевне.

Где ты, Капа — ум, честь и совесть нашей эпохи? Я готов целовать следы твоих ног. Ты уберегла меня от больших мучений, а возможно, спасла и жизнь. Ведь я человек впечатлительный и вспыльчивый, и если бы со мной проделали то, что с другими евреями, то я совсем не уверен, каков был бы исход.

Чтобы получить никому не нужную характеристику с места работы о твоих деловых и политических качествах, без которой не принимают документы в ОВИРе — похожем на инквизицию учреждении, где оформляют визы на выезд, нужно хорошенько похаркать кровью и потратить последние нервы. Подумайте сами, кому нужна эта характеристика? Собачий бред. Израилю, куда ты едешь, очень интересно мнение о тебе советских антисемитов? Или Со-

ветскому Союзу, который ты покидаешь с проклятиями, требуется в твоём личном деле сотая характеристика? Мало их составляли за твою жизнь, пока ты числился гражданином?

Когда-то, в средние века, насколько я помню из истории, была такая пытка: человеку вливали в рот расплавленное олово. К чему было пытаться таким образом, лишая человека языка и возможности во всем сознаться, один Бог знает. Зачем издеваться над несчастным евреем с помощью проклятой характеристики, если он все равно уезжает, и вы расстаетесь навсегда, как в лагере говорят: задом об зад — кто дальше прыгнет.

А вот зачем. Чтоб других напугать, чтоб остальным неповадно было. Поэтому уезжающего еврея тащат на собрание, и все, кто с ним раньше работал вместе, должны хорошенько плюнуть ему в рожу, а если есть охота, можно и поддать ногой под зад. Независимо от того, был ли ты с ним дружен прежде или враждовал. Бей, не щади, иначе сам попадешь на заметку.

Один режиссер в Москве не выдержал этой обработки и дал дуба прямо на собрании. А на столе у парторга осталась его характеристика, теперь уже вообще никому не нужная.

Ну, а те, что выдержали все мучения и, вырвав характеристику, приносили ее в зубах в ОВИР? Могли только перевести дух до следующей пытки. А саму характеристику девчонки из ОВИРа брезгливо выбрасывали в корзину для ненужных бумаг.

Что вспоминать? Каждый еврей, уехавший из СССР (а уехали не только праведники) достоин ордена за выносливость и компенсации за потерянное здоровье и десятки лет жизни. Я бы даже выразился так: оптимистическая трагедия и пошлый фарс в одно и то же время. И если какой-нибудь другой народ окажется на это способен, то я очень буду удивлен. Потому что мы, евреи, уж такими удались и от всех других людей тем отличаемся, что если взлетать — то выше всех, а если падать — ниже никто не упадет.

Каких красивых людей мы вдруг узнали! Какое беско-

рыстие и любовь к людям, совершенно чужим тебе, но таким же, как ты, евреям!

Помню, улетала в Израиль московская актриса. Ее богатая квартира в Дворянском гнезде была полна евреев.

— Мне ничего не нужно, — возбужденно говорила актриса. — Забирайте все, что видите, братья мои и сестры. Это вам пригодится, чтобы выжить до визы. А у меня уже виза есть. Берите, пользуйтесь!

И люди уносили из этого дома антикварную мебель красного дерева времен императоров Павла и Александра. Дорогие картины. Фарфор.

У актрисы были две прекрасные шубы из норки и из скунса. По московским понятиям — целое состояние. Я своими глазами видел, как она бросила эти шубы на руки незнакомым евреям:

— Носите на здоровье или продайте и кормите свои семьи. В Израиле нет зимы! Мне это там не нужно!

И громко смеялась. Искренне и радостно. Клянусь вам, она была счастлива, все раздав.

Она улетала налегке, как говорится, с пустыми руками. Один чемоданчик — весь багаж.

Я пришел в аэропорт, и у меня в глазах стояли слезы. От восторга, что люди могут так поступать, и от нехороших предчувствий за их будущее.

В Шереметьевском аэропорту такие тогда разыгрывались сцены, что, как выразился один писатель, древнегреческие трагедии по сравнению с ними — детский лепет.

Помню, уезжала женщина с сыном-подростком. Тоже без багажа. Они везли урну с прахом покойного мужа, который долго ждал и не дождался визы и умер за несколько недель до их отъезда. Сотни евреев, знакомых и чужих, провожали эту семью: женщину, мальчика и урну. Урну упаковали в картонную коробку из-под пылесоса «Вихрь» и перевязали веревками.

Посадку на самолет провожающим можно видеть с галереи аэропорта. Дальше не пускают. Дальше — пограничники в зеленых фуражках. Дальше — заграница.

Большая толпа заполнила галереи. И вот из автобуса к трапу самолета, следующего рейсом на Вену, вышла эта

женщина с коробкой и мальчик. За ними шагал международный пассажир, известный всему миру виолончелист Мстислав Ростропович. Должно быть, летел он на очередные гастролы в Вену. Какой-то холуй бережно, двумя руками, нес его драгоценную виолончель в футляре.

Больше пассажиров не было. Тогда еще только-только начинали выпускать евреев.

Женщина несла картонную коробку от пылесоса, холуй Ростроповича — его виолончель. Ростропович и мальчик шли сзади.

И вдруг — все галереи огромного аэропорта взорвались от аплодисментов, криков и рыданий. Сотни людей махали руками, платками, шапками.

Избалованный славой Ростропович, естественно, принял это на свой счет и, остановившись, поднял обе руки вверх, отвечая на приветствия.

Галереи негодующе взревели, засвистели. Ростропович растерянно стал оглядываться и увидел женщину с коробкой. Она подняла руку и помахала галереям, и оттуда последовал ликующий крик. Провожали ее. Ростроповича, всемирно известного виолончелиста, никто и не заметил.

Сбитый с толку знаменитый музыкант смотрел на маленькую женщину с картонной коробкой и силился понять, чем же она знаменита и откуда у нее такие толпы горячих поклонников.

Разве объяснишь ему или кому-нибудь другому, кто не побывал в нашей шкуре? Этой женщине не нужно было быть знаменитой. Достаточно было того, что она еврейка и получила визу в Израиль. А толпы провожающих — те же евреи, еще без виз, но радующиеся ее удаче, как будто она родной человек, член семьи.

Я почти каждый день торчал в аэропорту, провожая счастливых. Как будто это могло приблизить день моего отъезда. Я примелькался всем агентам КГБ в штатском и в форме. Я плевал на все и чувствовал такой же подъем духа, как в войну, когда наш воинский эшелон приближался к фронту.

Я дождался тех дней, когда полные, до отказа набитые

евреями самолеты уходили в Вену. И еще не хватало мест. Было трагично. И было смешно.

Одна еврейская семья с Кавказа побила все рекорды. Это была очень большая семья. И вся семья с визами на руках отказалась сесть в самолет. Почему? Вы, конечно, подумали, что, возможно, им предстояло впервые лететь, этим людям с Кавказских гор, они боялись подняться в воздух. Не угадали. Семья насчитывала с прабабушками и правнуками сто восемнадцать человек, а рейсовый самолет на Вену вмещал чуть больше половины. Но семья категорически отказалась разделить и два дня просидела в аэропорту, пока на эту линию не поставили другой самолет, вместивший всех сразу.

Я многое видел. И кое-что там, в аэропорту, подмешало первую ложку дегтя в бочку меду. Я увидел, что еврей еврей рознь. Я увидел, что, кроме идеалистов и красивых людей, есть очень много, даже слишком много, простых смертных, восторга не вызывающих. А наоборот. В этих случаях я начинал понимать, за что нашего брата не очень жалуют.

И порой мне хотелось послать все к черту и не ехать ни в какой Израиль. Потому что там эти люди будут на коне и над такими, как я, будут смеяться, как над белыми воронами. Мои предчувствия не обманули меня.

Я видел в Шереметьеве, как таможенники перед посадкой в самолет заставляли кое-кого из евреев принимать слабительное и потом извлекали из их испражнений проглоченные бриллианты. Один еврей, поднатужась, выдавил из себя черный кристалл и довел хохочущих таможенников до слез: ему кто-то продал фальшивый камушек, и в желудке он почернел, подтвердив свое неблагородное происхождение. Еврей плакал от обиды, таможенники рыдали от удовольствия.

Однажды уезжала семья с парализованной старухой. Седая, как две капли воды — Голда Меир. Лежит без движения на матрасе. Действуют лишь язык и правая рука.

Ее на матрасе понесли в самолет, и так как тащить ее могли лишь четверо мужчин, то и меня попросили помочь. Мы несли матрас со старухой через летное поле, по-

том по трапу в австрийский самолет. Старушка оказалась голосистой и, грозя небу своим кулаком, она, седая, растрепанная, все время кричала, как колдунья:

— Так мы уходили из Египта! Господь нашлет на вас десять казней египетских!

Она кричала это в лицо советским пограничникам, служащим аэропорта, таможенным чиновникам, и я подумал, что ее устами глаголет наша древняя история, и почувствовал даже прилив гордости за свой народ.

Что меня немного смущало, это непомерный вес матраса со старушкой на нем. Казалось, не хрупкую бабулю несем, а бегемота, наглотавшегося камней. Углом матраса, твердым, как доска, я до крови сбил себе плечо.

Только в Израиле я узнал причину такой несообразности. Случайно встретил эту семью. Старушку успели похоронить. Вспомнили, как несли ее в самолет, и она пророчествовала с матраса, а я сбил себе плечо. Старушкины дети долго смеялись. В матрасе были защиты деревянные иконы большой ценности. Много русских икон. Полный матрас.

Старушка вещала что-то из Библии, из еврейской истории, лежа на контрабандных Николае-угоднике и чудотворной Иверской богоматери. Я думаю, старушка не знала об этом. Иначе у нее отнялся бы в довершение язык.

Боже мой, Боже! Сколько драгоценных икон вывезли не верящие ни в какого Бога русские евреи и за доллары и марки распродали их по всей Европе и Америке. Тысячи икон. По дешевке скупленных в самых глухих уголках России. Этих людей в Риме, Мюнхене, Нью-Йорке в шутку называют «хриstopродавцами». Не хриstopродавец, а хриstopродавец. Злая шутка.

Если вдуматься хорошенько, содеян страшный грех: разграблена русская история, ее духовное наследие, и когда-нибудь нам предъявят жуткий счет, и платить придется совсем не виновным людям, только за то, что они одного племени с теми, с хриstopродавцами.

Чего только не вывозили контрабандой, подкупая таможню, суя взятки налево и направо, пользуясь добрыми чувствами иностранных туристов, и даже дипломатов.

Бесценные картины из Эрмитажа и Третьяковской галереи, коллекции редчайших марок и старинных монет.

Потом делали на этом состоянии и, как на полоумных, смотрели на тех чудаков, которые, отсидев в тюрьмах и лагерях ради массовой эмиграции в Израиль, вылетали из России в чем мать родила.

Одну такую чудачку я встретил в Иерусалиме. Помните московскую актрису, которая все, что имела, раздавала евреям, в том числе две дорогие шубы из норки и скунса?

— В Израиле нет зимы! — смеясь, оправдывала она свою щедрость.

Я встретил ее в декабре на заснеженной улице Иерусалима. С Иудейских гор дул пронизывающий холодный ветер. Актриса, как замерзшая птичка, перебирала ногами, кутаясь в легкий плащ, говорила простуженно-хрипло, а в глазах уже не было того выражения, что в Москве. Она ходила без работы и еле тянула. Особенно донимали ее холода.

Совсем недавно она случайно наткнулась на улице на женщину в своей скунсовой шубке. Она опознала ее по пуговицам, которые некогда перешивала сама. Да и лицо женщины вспомнила по тому вечеру в своей московской квартире, когда она раздавала чужим людям накопленное за всю жизнь добро.

Эта женщина ее не узнала. Или не захотела узнать. И прошла мимо в роскошной скунсовой шубе. А она стояла, кутаясь в свой плащ, морщила посиневший от холода носик и не знала, что ей делать: плакать или смеяться.

*Над проливом Ламанш. Высота
30000 футов.*

Ну, кого же вы мне напоминаете? С ума сойти! Я не успокоюсь, пока не вспомню.

Где мы? Уже над Европой? Скоро, скоро конец пути и вашим страданиям.

Скажите честно, вам не хочется меня задушить за то,

что я всю дорогу болтаю? Нет? Удивительная выдержка. Отсюда я делаю вывод, что мне можно продолжать.

Вы знаете, американские дамочки так называемого зрелого возраста, за шестьдесят и до бесконечности, удивительно похожи друг на друга, как будто от одной мамы. Ничего в них нет натурального, своего, а все куплено за деньги, синтетическое — и зубы, как фарфор, и волосы, серебристые, с фиолетовым отливом, и даже цвет лица. Вроде манекена в витрине. Как будто собрали из одних запасных частей, но не сумели мотор, то есть сердце, обновить. То ли денег не хватило, то ли техника не дошла. Выглядят, как новенькие, лаком блестят, аж глаз режет, а вот дунь — и рассыпятся, только запах косметики останется.

Я по этому поводу всегда вспоминаю изречение одного деятеля в Москве, моего постоянного клиента. Высших ступеней достиг: в Кремле своим человеком был, с Хрущевым не только за ручку здоровался, домой запросто захаживал чайку попить, еврейский анекдот рассказать. За границу как к теще на блины ездил: конгрессы, конференции. В газетах я его имя встречал. Оно у него было русским. В войну сменил. Хрущев в нем души не чаял, даже в речах упоминал его как образец коммуниста и русского интеллигента нашей советской формации. А был он евреем, таким же, как я. Только в паспорте, в пятой графе, русским значился. Не знаю, как ему это удалось, но не подкопаешься. Чистая работа, ловкость рук, и никакого мошенства. Ну, и на здоровье. Если ему от этого хорошо — почему я должен быть против? Я-то знаю, что он еврей, а он — тем более. Я однажды видел его маму — тут уж никакой паспорт не поможет. Приехала из Харькова в столицу проведать сынка, что ходит в больших начальниках. Я его как раз стриг дома, а она, как и положено еврейской маме, вмешивалась и давала мне указания, как его стричь. Чтоб было не хуже, чем в Харькове... Да, так эта мамаша, если б он ее быстро не отправил в Харьков, могла ему наделать много неприятностей. Должен вам сказать, что далеко не каждая старая еврейка так коверкала русский язык, как его мамаша. Она не выгова-

ривала ни одной буквы русского алфавита. Даже мягкий знак.

Короче, со мной этому человеку в прятки играть было нечего — понимаем друг друга с одного взгляда. Было тут и кое-что другое: большое начальство простого человека, вроде парикмахера, вообще не принимает за нечто одушевленное, так же как кисточку, которой его намазывают, или бритву, которой скребут его упитанные щеки. Поэтому он был со мной откровенен, как со стеной. Нет, не со стеной, в ней могут быть тайные микрофоны. А как, скажем, с зеркалом. И попадал впросак, потому что частенько сам забывал, кто он на самом деле.

Скажем, настроение у него хорошее: начальство похвалило или соперника обставил на партийном вираже, и по-сему говорит со мной барственным тоном, эдак покровительственно, пока мои ножницы продираются в его спутанных, как джунгли, еврейских волосах:

— Вот за что я тебя, Рубинчик, не люблю, так это за твои еврейские штучки. Нет того, чтобы сказать прямо, по-нашенски, по-русски. Обязательно с двойным смыслом, с подковыркой, с червоточинкой. За это вот вашего брата никто и не любит.

И невинно, не моргая, смотрит в зеркале в мои выпученные от изумления глаза.

Так разговаривать с евреем-парикмахером мог бы только сам Пуришкевич. Правда, говорят, Пуришкевич был антисемитом с принципами и еврея-брадобрея к себе на версту не подпускал.

Зато в другой раз, в дурном состоянии духа, сидит мой клиент в кресле подавленный и вздыхает, ну, совсем как его харьковская мама:

— Да, брат Рубинчик, худо будет нам, евреям. Не дадут они нашему брату покоя, доведут до ручки.

И знаете, что характерно: в обоих случаях он говорил искренне, сам верил. Цирк!

Да, так к чему я вспомнил этого клиента (будто у меня не было клиентов еще и похлеще)? А-а, за его мудрое слово. Оно не в книгах напечатано и не в витринах выставлено. За такое, знаете, куда упечь могут? То-то.

Мой клиент сказал это мне в своем автомобиле, когда мы ехали на его правительственную дачу, где ожидали важных гостей, и нужно было всех дам срочно привести в божеский вид по части причесок. Ехали мы лесом, в дождь, ни души кругом. Вода хлещет по ветровому стеклу, и даже «дворники» не могут разогнать ее.

И вот тогда он изрек. Даже не мне лично, а в дождь, в тьму, в космос, где никто не подслушивает и не делает организационных выводов. Нужно ведь и ему когда-нибудь отвести душу, проветрить пасть, изречь, что думает.

— А знаете, Рубинчик, на что похожа советская власть, наша обожаемая страна, родина всего прогрессивного человечества? На самолет. Современный авиалайнер. Обтекаемой, самой модной формы. И все у этого самолета такое же, как у его капиталистического собрата. Как, скажем, у французской «Каравеллы» или у американского «Боинга». И крылья стрелой, и хвост — только держись, и фюзеляж-сигара. На одно лишь ума и силенок не хватило — мотора не поставили. И вот взвалили эту алюминиевую дуру на плечи трудящихся, те кричат, качаются, но держат, не дают упасть на землю. А начальство победно орет на весь мир: «Смотрите! Летит!» И все делают вид, что верят: действительно, мол, летит. От земли оторвался и весь устремлен вперед, к сияющим вершинам. А как же иначе? Не поверишь — научат. Для того и Сибирь у нас с морозами. Одна прогулка под конвоем — и всю дурь из башки выдует. Еще как заорешь вместе со всеми: «Летит! Летит! Дальше всех! Выше всех! Быстрее всех!» Вот так, брат Рубинчик, летим мы в светлое будущее, без мотора, на желудочных газах. Рухнем, много вони будет.

И через зеркальце косит на меня еврейские глазки:

— Вашему брату, Рубинчик, этой вони достанется больше всех и в первую очередь. Сомневаюсь, чтоб вы уцелели.

*Над долиной реки Рейн. Высота
28500 футов.*

Постойте, постойте. Что объявили по радио? Мы приближаемся к Берлину? Господи, скоро Москва!

Жаль, что под нами сплошные облака. Ничего не видно. А то я бы не прочь посмотреть на Берлин сверху и увидеть сразу Восточный и Западный. Редкий случай, когда одновременно видишь и социализм, и капитализм. И Берлинскую стенку. Вы думаете, отсюда можно разглядеть, если б не было облаков?

С этим городом у меня связана одна история, которая случилась не со мной, а с одним моим знакомым, который, к сожалению, умер и похоронен в Западном Берлине. Хотя отдал он Богу душу в Восточном. История очень поучительная, и вы не пожалеете, что потратили еще немного времени, слушая меня. Тем более, что скоро Москва, и конец вашим мукам: вы избавитесь и от меня, и от моей болтовни.

С немцами у меня свои счеты. Осыпьте меня золотом, я бы в Германии жить не стал. То, что они сделали с евреями и, в частности, почти со всеми моими родственниками—достаточный повод, чтоб не пылать к ним любовью. Этим я отличаюсь от многих евреев из Риги, которых немцы объявили чуть ли не соотечественниками и предложили им свое гражданство из-за их, видите ли, близости к немецкой культуре. В Риге когда-то было несколько немецких гимназий, и уцелевшие от немецких газовых камер еврей-рижане почувствовали себя очень польщенными, что их в Германии посчитали своими. И полетели из Израиля туда как мухи на мед, предав память своих близких за пачку немецких марок, которые считаются самой устойчивой валютой.

Не только рижане, но и кое-кто из евреев-москвичей, не имевших чести вырасти в сфере немецкой культуры, также сунулись туда. Правда, с черного хода. Не очень званые. Но приперлись, и их не выгнали. Евреям хамить в Германии не принято. После Освенцима и Майданека, после газовых камер и крематориев это считается дурным

тоном, и немцы демонстрируют вежливость. Пока хватает терпения.

Иногда не хватает. Тогда вылезают клыки.

Один скрипач московской школы — а лучшей аттестации не нужно — потолкался немножко в Израиле, стал задыхаться от провинциализма и махнул в Германию. Там он пошел нарасхват, концерт за концертом, газеты воют от восторга, прекрасная вилла на Рейне, немецкая чистота на улицах, денег — куры не клюют. Поклонников и поклонниц — хоть пруд пруди. Немцы любят музыку, ценят хорошего исполнителя.

Наш скрипач то во фраке, то в смокинге стал порхать с одного приема на другой, с банкета на банкет. И все это в лучших домах, среди сливок общества. Свой человек. Он — дома.

Однажды на каком-то приеме он нарвался: ему указали, кто он есть. Элегантная дама, то ли баронесса, то ли графиня, высоко отозвавшись о его мастерстве, во всеуслышание сказала:

— Подумать только, что еще совсем недавно наши родители делали из кожи ваших родителей абажуры для ламп. Ах, я смотрю на ваши талантливые руки и вижу кожу с них на абажуре в моей спальне.

Наш скрипач вспылил: «Антисемитизм! Фашистские происки!» А ему вежливо, даже с улыбкой:

— Шуметь можете у себя в Израиле. Здесь вы в гостях. Никто вас сюда не звал.

Все это я знаю из первых рук, с его слов.

Вы думаете, он в гневе уехал из Германии? Побулькал, побулькал — и остыл. Играет как миленький, услаждает тонкий немецкий слух. И только порой у него дрогнет рука со смычком. Когда увидит наведенный на него из публики театральный бинокль. Ему все кажется, что владелец бинокля с вождением гурмана рассматривает кожу его рук, прикидывая и примеряя, подойдет ли она для сумочки его жене.

Веселенькая история. Но это все так, для аппетита.

То, что я собираюсь вам рассказать, имеет отношение не к скрипачу, а к дантисту. И то, и другое, как вы знаете,

еврейские профессии. Но если скрипачи принесли нашему народу мировую славу, то смею вас заверить, с дантистами все наоборот, и они навлекут на нас большие несчастья.

Я не люблю дантистов. Евреев и неевреев — безразлично. Это — жуткая публика, враги человечества. Они эксплуатируют нашу боль и, как мародеры, сдирают последние сапоги с трупов. Они вздули цены до небес, наживаются, жиреют на наших несчастьях, и кажутся мне международной мафией, ухватившей за горло все население земного шара. За исключением грудных младенцев.

Если у вас заныли зубы, то есть два выхода с одинаковым результатом. Не пойти к дантисту, значит — умереть с голоду, потому что ничего в рот не возьмете. Пойти, значит, с вылеченными зубами загнуться от истощения, потому что жевать будет нечего, все деньги забрал дантист.

Когда я прохожу по улице и вижу на доме табличку «дантист», у меня делается гусиная кожа и начинаются галлюцинации. В моем воображении обязательно возникает большая паутина, и в центре ее — мохнатый паук-дантист, под заунывное гудение бор-машины высасывающий последние гроши из несчастной мухи-клиента.

Клянусь вам, я не встречал среди дантистов нравственных людей — профессия накладывает свою печать. В Америке — это страшилища, каких свет не видывал. Если там начнут бить евреев, а этого ждать недолго, то начнут с дантистов.

Даже в Советском Союзе, где медицина бесплатная, и поэтому грабить, казалось бы, некого, они умудряются делать немалые деньги. И как только начался выезд в Израиль, ринулись толпами, заглывая бриллианты, чтоб проскочить таможенный досмотр. А если бриллианты не умещались в желудке, то их запихивали в специально изготовленные полые зубные протезы и всю дорогу ничего не жевали, чтоб случайно не подавиться драгоценным камнем.

Для дантиста капиталистическая страна — Клондайк,

золотые прииски. В СССР так никогда не развернуться, всю жизнь клевать по мелочи. А там...

Там вырвал зуб — сто долларов в кармане, можно целый день не вылезать из борделя.

Так говорил, сверкая глазами, мой знакомый дантист, которого мы назовем Аликом. Это было в Москве, незадолго до отъезда. Он сходил с ума от предвкушений. Нетерпеливо, как застоявшийся конь, ждал визы, чтоб, наконец, вырваться из проклятого советского быта в блистательную Европу, загребать деньги лопатой и гулять, гулять по самым злачным местам, познавая сладкую жизнь не по фильмам, а наяву.

Как вы понимаете, в Израиль Алик заглянул только на минуточку — убедиться, что это не совсем то, о чем он грезил. Сделать копейку можно, но тратить где?

Он ринулся в Германию. Так как он не из Риги, а из Москвы, то въехал полулегально. В Берлин. Потому что туда легче. Все же фронтовой город, как его называют в газетах. И, как вы догадываетесь, не в Восточный Берлин. Там же коммунисты, а он от своих, московских, еле вырвался. Приехал Алик в Западный Берлин. Сверкающий неоновыми рекламами, с ломящимися от добра витринами, с лучшими публичными домами Европы. В настоящую жизнь, как он ее понимал. И бегал по городу, разинув рот и выпучив глаза. Пробивал себе вид на жительство и вид на частную практику, заранее облизываясь. Потому что вот-вот должна была начаться настоящая жизнь: вырвал зуб — сто долларов в кармане: целый день не вылезай из борделя.

Носился, носился наш Алик по Берлину и вдруг свалился с гнойным аппендицитом. Жена кинулась с ним в больницу. Не берут. Кто заплатит? А деньги нужны большие. Они в другую — то же самое.

И вот по сверкающему неонем городу, мимо богатейших витрин и лучших в Европе публичных домов возила жена впадающего от боли в беспамятство Алика из одной больницы в другую, и везде перед ним захлопывались двери. Деньги вперед! Никаких сентиментов. А где гуманность? Клятва Гиппокрага?

Алик взвыл:

— Буржуи! Загнивающий капитализм! Человек человеку — волк!

Слабеющим голосом велел он жене мчаться через стену в Восточный Берлин, к коммунистам. Там — гуманизм. Там меньше неона, пустые витрины, нет публичных домов. Зато там человек человеку — друг, товарищ и брат. Там — бесплатная медицинская помощь.

В Восточном Берлине Алика положили на операционный стол, даже не заикнувшись о деньгах. Жена благодарно рыдала, убедившись в несомненных преимуществах социализма. Сам Алик, приходя в сознание, растроганно шептал:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..

Пока окончательно не уснул под наркозом. Он так и не очнулся. Слишком долго коммунисты проверяли его документы у Бранденбургских ворот, — наступил перитонит, и никакие усилия врачей Восточного Берлина спасти его не могли. Он скончался на бесплатном операционном столе, и так же бесплатно труп передали через стену на Запад, где его и похоронили в кредит, обременив вдову долгами...

Очень жаль, что сплошные облака под нами. Интересно взглянуть на оба Берлина с такой высоты. Один, говорят, выглядит очень мрачно, почти без огней, а второй сверкает, переливается неоном. Его называют витриной свободного мира.

*Севернее города Берлина. Высота
30000 футов.*

Господи, Боже ты мой! Каких только евреев не бывает на свете! Прогуляйтесь по Тель-Авиву или еще лучше — по Иерусалиму, посмотрите по сторонам, загляните в лица встречным. Да зачем в лица? Посмотрите, как они одеты, какие украшения носят. Да, наконец, какой у них цвет кожи?

Нам, которые всю жизнь свою прожили черт знает где, но не со своим народом, всегда казалось, что портрет типичного еврея — это длинный, а для пушей красы, горбатый нос, темные, курчавые волосы и оттопыренные уши. Размером, конечно, поменьше, чем у слона, но побольше, чем, скажем, у Коли Мухина.

Так вот, таким представляли себе еврея мы, люди без роду, без племени, да еще карикатурист уважаемой газеты «Правда» Борис Ефимов (по секрету могу сообщить: тоже еврей, и настоящая его фамилия, которую юмористы называют девичьей — Фридлянд), а также самые заурядные антисемиты. И все очень заблуждались.

Только в Израиле я узнал, как в действительности выглядит еврей. И узнал я вот что: еврей никак не выглядит. Потому что нет еврейского типа. Есть сто типов, и все разные, как народы, среди которых евреям приходилось жить из поколения в поколение. Что это была за жизнь — это другой вопрос, и мы его не будем сейчас касаться.

Еврейка из Индии — как родная сестра Индиры Ганди. И глаза такие же, и цвет кожи, и в такую же ткань завернута сверху донизу — это у них называется сари. И бриллиантик вколот вместо мочки уха в крыло ноздри. Может быть, у Индиры Ганди бриллиантик на несколько каратов покрупнее. Но разве в этом дело?

Каждый раз, когда я видел евреев из Индии на улицах Иерусалима, мне почему-то хотелось крикнуть, как это делал наш незабвенный вождь и учитель Никита Хрущев, встречая индийского гостя:

— Хинди, русси — бхай, бхай!

Никита обожал иностранные слова, хотя натыкался на немалые трудности при их воспроизведении. Помню, покойный папаша Индиры Ганди приезжал в Москву, и на стадионе имени Ленина ему была устроена торжественная встреча. Никита Хрущев, с утра поддав грамм триста, никак не меньше, приветствовал дорогого гостя и все порывался назвать его полным именем. А имячко-то было такое, что русскому человеку на нем язык сломать можно — Джа-ва-хар-лал! Правда, фамилия попроще — Не-ру.

Я по телевизору видал и своими ушами слышал, как ду-

шечка Хрушев трижды штурмовал это имя. И все с тем же результатом.

— Нашему дорогому гостю Джа-вахрал...

Он пучил глаза, переводил дух и снова приступал:

— Нашему дорогому гостю Джа-валахра...

Вытирал пот, отступал на шаг и, набычившись, кидался на микрофон:

— Джахрала... ва...

Индийский гость стоял рядом в своих национальных белых кальсонах, и при каждой попытке Хрущева пробиться сквозь его имя закрывал глаза и страдал, как от зубной боли.

Но я, кажется, отвлекся.

Арабский еврей, скажем, из Марокко или из Йемена никакой не еврей, как мы это понимаем, а настоящий араб. Да еще с арабскими привычками, которые в СССР называют феодально-байскими пережитками. Плодится, как кролик, работой себя не утомляет, и в глазах у него обычно такое томно-вдохновенное выражение, какое бывает у совокупляющихся за миг до оргазма.

Мне очень трудно внушить себе, что это мой родной брат, или хотя бы двоюродный. В таком случае Коля Мухин, русский, а не еврей, имеет больше оснований называться моим братом-близнецом. С ним у нас есть хоть какое-то сходство. Ну, скажем, цвет глаз или... взгляд на жизнь.

За всю свою жизнь никогда и нигде я не чувствовал себя таким чужим и одиноким, как в Израиле.

Я знаю, найдется немало умников, которые ухватятся за эти мои слова и станут топтать меня ногами и приговаривать:

— Идиот! Негодяй! Нахлебник! А чего ты ждал от Израиля? От этой бедной, маленькой страны, окруженной со всех сторон врагами? А если б ты поехал в Америку? Или в Англию? Или в Германию? Там бы ты не чувствовал себя одиноким? И там бы ты тоже предъявлял претензии?

— Нет! — отвечу я таким умникам. — Там я бы ни на что не жаловался, никаких претензий не предъявлял. В

эти страны я бы приехал беженцем и был бы рад куску хлеба.

Израиль — другое дело. Каждый из нас ехал туда, как к себе домой, и вез в душе придуманный им Израиль. И когда стукнулся лбом о предмет своих мечтаний, взвыл так, как будто его жестоко надули, отняли последнюю надежду.

Допустим, в Нью-Йорке меня обсчитали в магазине. Ну, я ругнусь, обзову продавца жуликом, возможно, даже захочу дать в морду — и дело кончено. К Америке в целом у меня нет претензий.

А вот когда в славном городе Иерусалиме на вонючем и шумном, как цыганский табор, рынке «Маханей Иегуда» бородатый, как на библейской картинке, еврей, торгующий ошипанными курами, надувает меня на лишнюю лиру, пользуясь тем, что языка я не знаю и на иврите не могу сосчитать до десяти, то мне хочется взвыть и устроить маленький еврейский погром. Потому что рушится моя хрупкая надежда на то, что, наконец, я дома, у себя, среди своих. Этот еврей у меня не лиру украл, а последнюю надежду. Мне не хочется больше жить, мне хочется умереть.

Меня обманывали на этом рынке не раз и не два. И не потому, что я такой шлимазл. Все новые эмигранты через это прошли. Но когда это случилось в первый раз, у меня из глаз брызнули слезы.

Я стоял, как будто меня дубиной огрели, оглушенный воплями торговцев и предсмертными криками осипших кур. Куриный стон стоял над рынком. Тысячи крыльев бились в пыли. Остро, до тошноты, воняло куриными потрохами.

Жирные резники в ермолках, с заложенными за уши концами пейсов, острыми бритвами полосовали ошипанные куриные шейки, совали бьющихся в конвульсиях кур в воронки для стока крови, а бритвы сладострастно закладывали в рот, сжимая лезвия губами, чтоб освободить руки для новой жертвы.

Я стоял среди этого кошмара, и слезы катились по моим щекам. Евреи обтекали меня с обеих сторон и не

удивлялись моим слезам. У человека горе. В Израиле этим не удивишь.

Я стоял в еврейской столице, затертый еврейской толпой. и со стороны сам себе напоминал заблудившегося мальчика, потерявшего дорогу домой.

— Люди добрые! Проявите участие! Возьмите детку за руку, отведите его домой.

Но тогда возникает законный вопрос: а есть ли у этого детки дом? И был ли у него когда-нибудь дом?

У себя дома, в благословенном Израиле, нас — эмигрантов — любят еще меньше, чем там, на чужбине, где наши предки две тысячи лет мечтали быть в будущем году в Иерусалиме.

У себя дома, в благословенном Израиле, евреи научились ненавидеть друг друга похлеще, чем их прежние гонители. Если вы из России, то вы обязательно «русский бандит», если вы из Румынии — на вас, как клеймо, кличка «румынский вор». А если вы из Марокко, то лучшей клички, чем «черная скотина», вы не заслуживаете.

У себя дома, в благословенном Израиле, еврей обирает еврея с такой изощренностью и с таким бесстыдством, что расскажи мне кто-нибудь об этом прежде, чем я ступил на эту землю, я бы этого «кого-нибудь» обозвал злейшим антисемитом и плюнул бы ему в рожу.

А теперь плюйте в рожу мне.

Я — парикмахер. Это не доктор филологических наук. И слава Богу. Доктор наук еще долго полпрыгает, пока найдет себе занятие для пропитания, а парикмахеру искать нечего. Волосы растут у людей под всеми широтами, при любом строе и даже при самой большой девальвации.

Израиль — страна эмигрантов. Для нее эмиграция, как свежая кровь. Остановись эмиграция — закупорка вен и, как говорят медики, летальный исход, то есть смерть. Потому что если не будет свежих эмигрантов, то страна быстро опустеет и превратится в Палестину. Старожилы бегут из нее довольно стройными колоннами, и кому-то же надо восполнять славные ряды коренного населения государства Израиль, иначе эту страну скоро придется на радость арабам вычеркнуть из географических справоч-

ников и приспустить бело-голубой флаг перед известным зданием ООН на берегу реки Ист-Ривер, что протекает в городе Нью-Йорке.

Для чего еще нужна эмиграция? Для денег. Будут приезжать эмигранты, и взволнованное этим фактом мировое еврейство не поскупится и будет отваливать изрядные денежки государству Израиль для устройства этих эмигрантов.

Откуда можно сейчас раздобыть эмигрантов? Из России. В других странах еще раньше был окончательно решен еврейский вопрос, и поэтому там ничего не осталось, кроме еврейских кладбищ, которые понемногу превращаются в парки и места народных увеселений имени Болеслава Гомулки.

А там, где еврейский вопрос еще не решен окончательно, евреи себя чувствуют не так уж плохо и на историческую родину никак не стремятся. Ибо имеют достаточно информации о том, как там сладко живется. Такие евреи — очень горячие сионисты и одаривают большими деньгами тех евреев, которые поверили, что их место — в земле обетованной.

В России окончательное решение еврейского вопроса близится семимильными шагами, и евреи оттуда бегут, не ожидая последнего звонка. Вот и свежая кровь для Израйля. Под эту свежую кровь мировое еврейство раскошеливается, и золотой ручеек, гремя и позванивая, устремляется в Израиль.

К кому? К новым эмигрантам? Как говорят в России: извини-подвинься.

В Израиле из этих денег творят экономическое чудо, которое при ближайшем рассмотрении довело бы до сердечного приступа любого ученого-экономиста, а цирковых фокусников свело бы с ума на почве профессиональной зависти.

Не будем далеко ходить за примером. Я тоже как подопытный кролик прошел через этот эксперимент, и поэтому мои показания ничем не хуже чьих-нибудь других. А то, что я — простой парикмахер, а кто-то другой — ученый с полумировым именем, картины не меняет. Мы оба

— эмигранты, и израильское экономическое чудо испытано на нас обоих с одинаковым результатом: мы вкалывали, а кто-то подсчитывал барыши.

Евреи — не идиоты. Поэтому как парикмахера меня направили работать не в Академию Наук, а в парикмахерскую. В неплохое место. В самом пупе Иерусалима. На улице Яффо. Возле рынка «Маханей Иегуда». Так что, когда я выключал электрическую бритву, мог отчетливо слышать предсмертные вопли влекомых на заклатие кур.

Парикмахерская как парикмахерская. Ни шика, ни блеска. Старые, потертые кресла. Зеркала, мутные от древности — времен Оттоманской империи. Инструмент, конечно, лучше советского, но, по американским стандартам, годится для музея.

Хозяин — румынский еврей. Из старожилов. Очень рад взять на работу русского эмигранта. Почему? Ведь советский парикмахер, в отличие от советского шампанского, не самый лучший в мире.

Тут-то мы и подходим к разгадке экономического чуда. Хозяин берет меня на работу, как в древнем Риме брали иудейского раба. Даже на более выгодных условиях. Того надо было кормить.

Мой хозяин получает меня как подарок с неба. Целый год я буду получать жалованье за счет мирового еврейства — как стипендию Министерства абсорбции. А работать буду как вол на хозяина, и вся выручка пойдет ему. Кроме того, за то, что он помог трудоустроить эмигранта, ему положена скидка с налогов. Рай! Где еще в мире можно, не вкладывая ни гроша, держать бесплатного раба и наживать капитал?

Считается, что такая райская жизнь у хозяина длится ровно год. Потом он уже сам должен платить мне за мой труд.

Но ведь хозяин не идиот, он — румынский еврей. Ровно через год он меня увольняет. На мое место поступает новый эмигрант, из свеженьких, за которого мировое еврейство будет платить целый год. А потом хозяин и его уволит и будет с надеждой смотреть в сторону аэропорта имени Бен-Гуриона, где приземляются авиалайнеры, гру-

женные русскими эмигрантами, среди которых обязательно попадется несколько парикмахеров.

Однажды, выпив больше положенного румынской цуйки, хозяин разоткровенничался со мной и сказал, что если он удвоит количество кресел и советское правительство — благослови его Бог — не приостановит ручеек эмиграции, то ему раз плюнуть — стать миллионером.

Вы думаете, что так поступают только с парикмахерами? Так поверьте мне, вы глубоко заблуждаетесь. Люди почти всех профессий проходят через это «чудо», своими руками, своим трудом создавая Израилю собственных миллионеров.

Взять, к примеру, такую профессию, как технический переводчик. Обычно — это инженер, знающий два языка. Скажем, русский и английский. Таких в Израиль понаехало немало из Москвы и Ленинграда.

Один ловкий малый, из польских евреев, открыл бюро технических переводов. Засадил русских эмигрантов за работу, с мирового еврейства взял деньги на выплату жалованья и купил, говорят, за свои деньги, сейф, чтобы прибыль складывать.

Каждый год он увольняет сотрудников и нанимает новых.

Он стал миллионером.

А уволенные русские евреи, за которых больше не платит мировое еврейство, продают последние тряпки, чтоб бежать куда глаза глядят. Или, вернее, туда, где, как у всех нормальных людей, платят за труд заработную плату, а не стипендию, и миллионерами становятся иным, более трудоемким путем.

Мой хозяин уволил меня ровно через год. И взял на мое место парикмахера из Киева, только что распаковавшего свои чемоданы по прибытии в страну.

Я же стал складывать чемоданы.

Южнее города Свиноуйсце (Польша). Высота 30900 футов.

Почему я еду? Почему не нашел себе места ни в Израиле, ни в Америке и возвращаюсь туда, откуда еле вырвался? Добровольно покинуть Америку, о которой столько людей мечтает, как о награде?

Ну, что ж, сделаем анализ. Без эмоций, холодным разумом.

Свобода? Не будьте ребенком. Всем этим байкам о свободе грош цена в базарный день. Свобода, дорогой мой, начинается после первых ста тысяч долларов. А кто их имеет? Много вы таких знаете? Назовите мне.

Значит, с болтовней о свободе покончено. Переходим к более существенной проблеме — экономической. Америка — страна неограниченных возможностей, здесь каждый чистильщик сапог может стать миллионером.

Так вот, мой дорогой. Это все бабушкины сказки. Один становится миллионером, а сто тысяч до самой смерти будут вылизывать ему сапоги.

Когда я покидал Россию, клянусь вам, я не строил планов стать богачом. Мои желания были скромней. Я хотел зарабатывать своими руками на нормальную жизнь и не ловчить, не изворачиваться, а получать свое и спокойно спать по ночам, без этих кошмаров, что тебя пришли взять прямо в постели. Короче говоря, я мечтал честно получать свою копейку и никого не обманывать.

Вы же знаете, что у нас в Союзе на одной зарплате можно ноги протянуть. Я работал как вол, и сверхурочно, и налево. До поздней ночи таскался с инструментом из квартиры в квартиру. И даже при этом должен был делать махинации.

На работе мой основной доход был не от работы, а от казенных материалов, которые я экономил, то есть воровал. К примеру, чем мы красим волосы? Вам любой ребенок ответит: гаммой или хной. На одну голову положено по норме столько-то гаммы, а я ею крашу две головы вместо одной. Половина — моя добыча. Также и лак, одеко-

лон. Все, что хотите. При такой калькуляции за день собирается немало, а за неделю — весьма заметно.

Куда мне девать все это? В магазин. Там работал один еврей — красивый малый, кудрявый, хоть к нам в витрину ставь как манекен. Он ведь тоже хочет кушать: зарплата — с гулькин нос. Я ему с черного хода заносу сэкономленный материал, он его пускает в продажу, весь доход — пополам. Вот с этих денег я мог жить прилично. До поры до времени. Пока не цапнут за руку: гражданин, пройдемте. Не больно-то разжиреешь на таких хлебах.

Зачем далеко ходить за примером? В нашем же Банном переулке, в соседнем доме, жил бухгалтер. Тихий, вежливый человек. Моих лет. Никогда на здоровье не жаловался. Однажды приходит с работы, — работал он на кондитерской фабрике, — и падает замертво. Инфаркт миокарда, копыта в сторону.

Как? Почему? Ничем не болел. Прекрасно выглядел.

Оказывается, он, голубчик, каждый божий день выносил с фабрики в портфеле кило шоколада. С этого и кормилась семья. Его, как бухгалтера, охрана не проверяла. Никто его не заподозрил, никто не поймал. Он умер до того, от страха, что это случится. Десять лет ежедневно сердце уходило в пятки. Буйвол свалится, не то, что бухгалтер.

Мое сердце, как видите, выдержало. Но я уехал. Зачем? Чтоб иметь честный кусок хлеба. Вы думаете, я его нашел? Глубоко заблуждаетесь.

Везде одно и то же. Повсюду воруют, крутят с налогами, суют взятки инспекторам. Одним словом, тех же шей, да пожиже влей. И в Израиле, и в Нью-Йорке.

Тогда возникает вопрос: чего же я мчался как сумасшедший из Москвы, где все привычно, где говорят на твоём языке и где все свои?

Этот вопрос свербит в башке не только у меня одного. Сотни таких же идиотов, как я, лезут на стенку — что они наделали? У каждого свои причины для расстройства, но подкладка под всем этим одна: несовместимость нашего характера с чужой жизнью.

Вот пара из Ленинграда. Он и она не первой молодого-

сти. Им даже повезло. Американская родня ссудила денег, и они купили в рассрочку обувной магазин в Бруклине. Сбылась мечта идиота — сиди, подсчитывай прибыли.

Послушайте, что она рассказывает. У меня память, как магнитофон. Даю дословно:

— Этот идиот — мой муж, когда ехал из России, потащил с собой радиоприемник «Спидола». В Америку «Спидолу» тащить! Как будто здесь нельзя купить по дешевке «Соню». Но он там с ней не расставался, слушал «Голос Америки» по-русски и здесь держит возле уха: тот же «Голос Америки» и так же по-русски, потому что английского он не осилит до конца своих дней. Сидит в нашем магазине у кассы и слушает свою «Спидолу», будь она проклята.

Входит покупатель, из черных. Мне это уже не понравилось. Хоть мы — советские люди, воспитаны в интернациональном духе и за этих негров голосовали на митингах протеста, чтоб их не унижали и не притесняли. Но здесь, в Бруклине, когда я вижу черного, мне становится не по себе.

Этот, извините за выражение, покупатель выбирает себе ботинки за тридцать долларов, а платит в кассу пятнадцать.

— Где остальные? — спрашивает мой, извините за выражение, муж, отрываясь от «Спидолы».

— Тебе, грязный еврей, хватит и этого, — улыбается негр. У них очень белые зубы, ослепительная улыбка, скажу я вам.

Мой муж не согласился. На плохом английском. С ленинградским акцентом.

Негру это тоже не понравилось. Он взял у моего мужа «Спидолу», которую тот пер из Ленинграда, и этой самой «Спидолой» врезал ему по его же голове.

И ушел. С ботинками. За полцены. А мой идиот наклеил на башку пластырь, встряхнул «Спидолу», не сломалась ли о его череп, и снова стал слушать «Голос Америки».

— Я скажу вам по секрету, — продолжала она, — отсюда надо бежать без оглядки. Америка катится в про-

пасть. На расовой почве. Я это испытала на собственной шкуре.

Когда мы открыли магазин, первую дневную выручку я не доверила мужу, а повезла сама. В сумочке. Сабвеем. Так у них называется метро, будь оно проклято. После ленинградского — это помойная яма, где нет сквозняка. Мой идиот-муж еще дает мне совет: ремешок от сумочки намотай на руку, чтоб не могли вырвать. Если б я его послушала, он бы имел сейчас не жену, а инвалида. Мне бы оторвали вместе с сумочкой и руку. А так негр вырвал голько сумочку с выручкой и выбежал на перрон и скрылся. пока я на весь вагон обкладывала его русским матом, забыв, что я не на Лиговке, а в Бруклине, и старым эмигрантам мои выражения могли напомнить далекое детство при бабушке-царе.

— Я не расист. — заключила она, — но если меня попросят еще раз поднять руку на митинге в защиту этих черных паразитов, я лучше оторву себе руку и еще плюну в лицо тому недоумку, который меня об этом попросит. Прожила жизнь без черных и, Бог даст, дотяну свой век без них. Подальше. Короче, надо ехать обратно.

Вторая пара. Из Киева. Мирные тихие люди. Надоели им вечно пьяные петлюровцы, нашли тихое местечко в Нью-Йорке.

— Боже мой, — стонет она. — Здесь же вечером не выйдешь на улицу. Страх! Все прячутся, запираются, железными ломиками двери закладывают. Каждый дом как в осаде. На улице — пусто. Только автомобили — шмыг, шмыг. Никто на тротуар носу не высунет, будто боятся, что откусят.

А по телевизору каждый вечер — одни трупы. Того зарезали, этого задушили, а старушку еще изнасиловали впридачу.

Мы в Киеве не ложились спать, не погуляв часок перед сном на свежем воздухе. Какой в Киеве воздух! А? Компот! Фруктовый сок! Не то, что эта мерзость. У моего мужа — давление. Ему нельзя без прогулок. Может умереть. Но и прогулка в этом городе кончается тем же.

Что же мы выбрали? Умирать, так с музыкой!

Каждый вечер мы, два малохолельных, гуляем по совершенно безлюдной улице. Мой муж на всякий случай наматывает на руку велосипедную цепь, а я держу на всякий случай большой кухонный нож в рукаве. Так и гуляем, хватаем свежий воздух. Еще несколько таких прогулок — и отладим концы, как говорили у нас на Подоле киевские хулиганы. Боже мой, если бы я одного из них встретила сейчас, я б его задушила в своих объятиях. Потому что он — кудрявый ангел по сравнению с этой кодлой.

Хотите еще? Этот пример, самый точный. Вы сейчас убедитесь. Речь пойдет о таком малом, которому сам Бог велел бежать из Союза без оглядки и для которого Америка — как речка для щуки. Делец, каких свет не видал. Пробу негде ставить. Ворочал миллионами. Купался в деньгах. Дважды сидел. Не уехал бы — сгноили в Сибири.

Он хочет вернуться обратно. Не может здесь жить. Не потому, что с голоду умирает. Он уехал, как говорят блатные, хорошо упакованным: иконки, камушки (так у них бриллианты называются), еще кое-что вывез.

Ему здесь морально тяжело. Я не шучу. Это не из анекдота.

— Понимаешь, — жаловался он мне. — Они не люди. Для них деньги — все, свет застили. У них нет понятия друг, кореш, товарищ. Не знают, с чем это едят. У них весь мир делится на компаньонов и конкурентов. И даже если ты его компаньон, то не развешивай уши, затыкай все отверстия, чтоб не употребили. Я ведь тоже не пальцем деланный, и когда надо — могу взять за глотку. И шкуру спущу — не пожалею. Но это если соперника. А если мы с тобой заодно, стоим локоть к локтю, одно дело затеяли, можешь на меня полагаться как на брата. Надежен как скала. Так у нас в России принято. И на этом мы горим тут. На нашем доверии. Потому что если никому не доверять и сидеть на деньгах и дрожать, что отымут, так на хрена мне вообще эти деньги сдались и жизнь такая? Да подавитесь вы ими!

Меня тут пригрел один. Еврей. В Бога верит, ермолку с головы не снимает. Взял к себе в дело компаньоном. Я вложил все, что имел. Доверился человеку. Домой меня

приглашал, ужины выставлял. Пил со мной и целовал как брата. Очень он русских евреев жалел. И наставлял. Не доверять никому, держать ухо востро.

А сам сзади нож приставил к лопаткам. Обчистил, гад, до копейки, пустил голеньким. Пока я ему, как корешу, пузыри пускал. Я его убить хотел. А он не понимает. Бизнес, говорит. Не надо зевать. Да причем тут зевать? Я ж говорю, гад, с тобой пил. Вроде приятелей стали. Я ж тебе доверял. Компаньоны мы, а не конкуренты. Нет, отвечает, в этом мире компаньонов. Все — конкуренты. Даже родная жена — не компаньон, свои деньги хранит отдельно.

Поеду домой. Возьмут — отсижу свой срок. Но зато хоть надышусь вволю. Здесь мне воздуху не хватает. Понимаешь? Человечинки не достает.

А теперь я добавлю. От себя. Колю Мухина, моего соседа по Москве, помните? Так Коля напьется свинья-свиньей, лыка не вяжет, на карачках домой добирается. Кого ни встретит, обязательно спросит:

— Ты меня уважаешь?

Коле Мухину даже в этом состоянии нет покоя: вдруг да кто-нибудь его не уважает.

В Америке пьяных не меньше. А вот колин вопрос никто не задает. А на хрена? Уважение — это не деньги. Плюй мне в харю, мочись на темячко, только плати, как следует.

Вот этого наш человек из России никак не понимает. И никогда не поймет. Оттого ему вдруг так тошно становится в этой богатой Америке, что впору выть на луну. Если увидишь ее за небоскребами.

*Над государственной границей
СССР. Высота — 3000 метров.*

Я бы очень хотел, чтобы вы мне задали один вопрос. Спросите меня, пожалуйста: как Вы, господин Рубинчик, или товарищ Рубинчик, это уж что вам больше нравится, отличаете человека от зверя? И я вам отвечу без всяких

выкрутасов, коротко и ясно: по отношению этого существа к своим родителям, то есть к тем, кто произвел его на свет божий. По этому признаку я вам сразу скажу — человек это или зверь.

Больше того, по этому признаку я вам определю с точностью аптекарских весов, чего стоит та или иная нация, та или иная страна. И не буду вам пудрить мозги всякой статистикой, загрязнением окружающей среды, количеством автомобилей и телевизоров на душу населения.

Скажите мне, как вы относитесь к своей престарелой маме, и я скажу вам, кто вы — животное, скотина или человек.

Итальянцы — люди. Там матери — почет и уважение. О, *mamma mia!* Так, кажется, поют в Неаполе. Грузины у нас на Кавказе — еще больше люди. У них мама — Бог. Ну, уж о евреях нечего и говорить. Они в этом смысле — сверхчеловеки. Потому что в настоящей еврейской семье мама — Бог, царь и воинский начальник.

«Мама, нет на свете тебя милей!» — как поется в известной советской песне, авторы которой, — и композитор, и поэт — евреи, почему и песню эту можно по праву считать еврейской.

Но так может петь только русский еврей в Советском Союзе. Американский еврей так петь не может. Потому что в его сердце уже давно нет этого чувства к своей матери. Американский еврей отличается от русского, как молочный порошок от парного молока. Все, казалось бы, то же, да не то... Чувства нет. Один рассудок остался. Что полезно, а что бесполезно. Что выгодно, а что невыгодно.

Старенькая мама — это бесполезно, это никому не нужно. Так туда ее, старую, подальше с глаз, в дом престарелых.

В оправдание американских евреев я могу сказать только одно: это не еврейское качество, а американское. Еврей ты или не еврей, но если родился под звездно-полосатым флагом — отношение к родителям одинаковое: с глаз долой, из сердца — вон.

Не помню, вычитал я это в книге или видел в научно-популярном кино, у каких-то диких не цивилизованных

племен был такой обычай: своих стариков, когда те становились немощными, племя, снимаясь со стоянки, чтоб кочевать дальше, оставляло на произвол судьбы, и их в конечном итоге пожирали хищные звери. У других племен этот вопрос решался еще проще — своих стариков они сами съедали, таким образом убивая сразу двух зайцев: и продовольственную проблему решали, и любимых родителей на склоне лет избавляли от одиночества и старческих недугов, давая им завершить свой жизненный путь в узком семейном кругу на крепких зубах благодарных потомков.

В Америке — богатейшей стране, где евреи далеко не самая бедная часть населения, у каждой семьи по два-три автомобиля, у большинства — собственные дома, и комнат в этих домах столько, что в Москве бы там поселили семей пять не меньше. Так в этой самой Америке родители, престарелые люди, — отрезанный ломоть, от них избавляются под любым предлогом без всякого зазрения совести.

У вас есть папа и мама, или одна овдовевшая мама, или один вдовый отец, в вашем собственном доме пятнадцать комнат в три этажа, зарабатываете сто тысяч долларов в год, а родителей, если вы американец, вы не оставите доживать возле себя, согреть последние их годы сыновьей лаской. Вы их спроведите в дом для престарелых. В комфортабельный дом, стоящий уйму денег. Не остановитесь перед расходами, но сбудете родителей в чужие руки.

И они будут там сидеть в стерильных комнатках, и негритянки в белых униформах будут катать их в сверкающих никелем креслах-каталках по длинным, как в тюрьме, коридорам, и кормить их будут в богато убранной столовой, и каждое утро они будут недосчитываться за столами своих соседей — отдали Богу душу еще до завтрака.

Старики живут в этих домах без семейной ласки и внимания, хорошо оплаченные кандидаты в покойники, и все их мысли невольно гуляют вокруг одной и той же темы: кто следующий в этом доме отправится в мир иной. Они живут среди дряхлости и тлена, и страшней такой пытки не придумать даже людоедам.

У нас в России, где не только нет лишнего места для стариков, где в одной комнатке живут три поколения вместе: внуки, дети и дедушки с бабушками, вас бы посчитали извергом и самым последним человеком, если бы вы заикнулись о том, что, мол, не мешало бы избавиться от стариков.

Свою собственную маму, которая тебя взрастила, вскормила, выходила из самых жестоких болезней, спасала от голода, сама недоедая, телом прикрывала во время бомбежек, разве можно во имя своего комфорта лишить ее на склоне лет семейного тепла, внимания, радости жить с внучатами и молодеть, глядя на них?

Когда я женился в Москве, мы даже медовый месяц провели в одной комнате с моей тещей Цилей Моисеевой, и хоть характер у нее был не сахар, разве поднялась бы у меня рука, чтоб сплавить ее куда-нибудь?

В первые месяцы моего пребывания в Америке, когда я еще чувствовал разницу во времени от прыжка через океан, да и вообще не пришел в себя от встречи с небоскребами, у меня появилась бессонница, и ночами я бродил по Нью-Йорку. Вернее, по его центральной улице — Пятой Авеню. Потому что свернуть в сторону, в любое из каменных ущелий рискованно: можно расстаться со своим пальто и последними долларами в кармане, а если совсем не повезет, не принести домой, в гостиницу для эмигрантов, и свою голову.

Я гулял один по Пятой Авеню и глазел на освещенные витрины самых богатых в мире магазинов, а оттуда на меня глазели манекены. Десятки одинаковых манекенов, обряженных в меха и роскошные платья, в дорожные костюмы и фраки, в легкую спортивную одежду и купальные бикини, смотрели на меня одинаковыми пустыми глазами и скалились в одинаковых бесчувственных улыбках.

Я не хочу обижать американцев. Тем более, американских евреев. Но в каждом из них есть что-то от этих манекенов. Потому и жить в таком окружении — сомнительное удовольствие, а при мысли, что со временем ты тоже станешь таким, хочется полезть в петлю.

Грешным делом, я уже полагал, что все повидал в жизни, и меня ничем не удивишь. Ошибся. Не только удивился, но чуть не стал кусаться от удивления.

Работал я одно время по своей профессии в доме престарелых. Хороший дом. Чистота. Прекрасное оборудование. Расположен как филиал при большой больнице, и наших клиентов пользуют лучшие врачи. За содержание там стариков их состоятельные дети уйму денег платят.

Я стригу и брею клиентов. Жалких, трясущихся стариков. На своем скудном английском стараюсь каждому сказать пару ласковых слов, и они сразу догадываются, что я иностранец. Не по моему произношению.

Иногда я оставался там на ночь: дежурил за несколько дополнительных долларов.

Умирают старики ночью. Перед рассветом. Одна старушка дала мне телефон своей дочери — предупредить, если что случится. Среди ночи старушка стала умирать. Я спрашиваю у врача, сколько, мол, еще протянет? Не больше часа, говорит.

Я вспомнил про телефон. Старушка так нахваливала свою дочь, не могла нарадоваться, как она в жизни преуспела: муж — адвокат, свой дом на Лонг-Айленде, чудесные, как куклы, дети...

Было три часа ночи, и я позвонил на Лонг-Айленд. Там долго не снимали трубку, потом сонный женский голос спросил, чего мне надо?

Я сказал, что мне ничего не надо, а звоню им лишь потому, что, мол, мама ихняя умирает, и если они очень поспешат, то, возможно, еще успеют застать ее в живых.

Вы думаете, на другом конце провода захлебнулись в рыданиях?

— Кто дал вам право звонить нам ночью? — строго спросила меня дочь. — Да еще в уик-энд?

И прочитала мне лекцию о неприкосновенности частной жизни и о том, что я хам.

Вся эта семейка приехала посмотреть покойницу поздно утром, отлично выспавшись. Дочь, спортивного типа молодая дама, проронила традиционную слезу, аккуратно

перехватив ее носовым платком, чтоб не испортить тон на щеке.

Я смотрел на нее, как на своего личного врага, и она, почувствовав мой враждебный взгляд, повернулась ко мне спиной. Прямой и холеной, вскормленной покойной старушкой на лучших соках и витаминах.

На следующий день мой шеф сделал мне внушение за ночной звонок.

— Возможно, у вас, в России, так принято. — строго сказал мне этот старый еврей, который сам через пару лет попадет в такой дом. — В Америке другой порядок. И не вам его исправлять.

— Да сгорите вы все огнем, — ответил я по-русски. Он, конечно, не понял.

*Севернее города Бобруйск. Высота
— 3200 метров.*

А сейчас давайте разберемся, что такое свобода. Знаете, без красивых слов, и, как говорится, без розовых соплей... За свободу приятно умирать в кино.

Послушайте меня и не делайте такие круглые глаза. Я — простой человек. В Советском Союзе таких называли мещанин и обыватель. Я люблю жить спокойно и не бояться, что кто-нибудь на улице меня может ограбить. Потому что моя милиция меня бережет. Да, да, называйте это полицейским государством, тоталитарным режимом... как вам заблагорассудится. Чем больше полицейских я встречаю, когда вечером гуляю по улице, тем больше удовольствия я получаю от прогулки. Да! Я предпочитаю полицейского с дубинкой на ремне и пистолетом в кобуре, чем одетого в цивильное субъекта, у которого под модным пиджаком может скрываться кастет и нож.

Конечно, когда по улице будут прогуливаться одни полицейские, и только я одинешенек буду среди них наслаждаться вечерней прохладой, это уже, конечно, не культурный досуг, а больше похоже на прогулку арестанта в

тюремном дворике. Зачем такой перебор? Во всем нужна мера. Пусть среди полицейских попадаются гражданские лица. Желательно, женского пола... и помоложе... а?.. У Аркадия Рубинчика губа не дура? То-то. Мне это с детства все твердят, и я, знаете ли, не отпираюсь. Что есть, то есть, а чего нет, того, извините — увы!

Так вот — насчет свободы... Свободу в кашу не положишь. Свободой срам не прикроешь. Для этой цели требуются элементарные штаны с ширинкой, которая застегивается на пуговицы, а еще лучше — на замок-молнию.

Одним словом, свободой сыт не будешь. А что нужно человеку в первую голову? Харч хороший! Затем? Неплохо бы прибарахлиться. Потому как по одежке встречаются... В-третьих? Что нам с вами нужно в-третьих? Я вижу, вы из понятливых. То-то!.. И вот когда уже лежишь с ней, канашкой, в мягкой постели, и уже совсем без сил, даже слезы, сладкие такие слезы выступают от слабости, и так равнодушно-равнодушно водишь голый пяткой по ее все еще поддрагивающему животику, и делаешь третью затяжку болгарской сигаретки, слаще которой в этот миг нет ничего на свете — вот тогда и можно себе разрешить побаловаться мыслями о таких высоких материях, как свобода, свобода слова, печати и уличных шествий.

Послушайте меня, дорогой мой, из такой уютной пуховой постельки, от этих слабых ручек, что обвилась вокруг твоей трудовой шеи, разве потянет вас на холод и ветер, чтобы шагать, толкаясь, в уличных шествиях и схлопотать от властей по шее только потому, что у тебя зуд в заднице, и тянет погорлопанить всенародно? Это занятие для гимназистов-двоечников и студентов с длинными патлами. Волос длинный — ум короткий.

Ну, давайте, действительно разберемся насчет этой самой свободы, за которую перебили столько народу, что лучше бы этого слова и вовсе не придумали.

Что мы понимаем под свободой? Право ругать свое правительство. Так? Все остальное — это гарнир. Стало быть, выходит: крою на все корки свое правительство — свободный человек; молчу в тряпочку, занимаюсь личными делами — раб. О'кей.

Так вот, если так рассуждать, мы в СССР были самыми свободными людьми. Уж как мы своих вождей крыли! Где вы подобное услышите? Хрущев — кукурузник, Никита. Иванушка-дурачок. А какие только клички Брежневу не вешали? Правда, публично не орали с трибун, не вопили на площадях. Так нам же этого и не нужно. Нам потрепаться бы всласть, позлословить, душу отвести. В своей компании, за рюмашечкой, шепотком. Зачем глотку драть — она у нас казенная, что ли?

Скажу более: наш парторг Капитолина Андреевна в узком кругу такое про Хрущева рассказывала — закачаться. Правда, после того, как его сняли.

Ну скажите мне откровенно: в том же Израиле или в Америке люди рвутся на демонстрации, мешают уличному движению, публично скандалят — ну, и что же они за это получают? Думаете, чего-нибудь добиваются? Шиш. Только охрипнут, потеряют время и очень довольные, что воспользовались свободой, расходятся по домам. А правительство остается на своем месте и ноль внимания на их вопли, только посмеивается в кулачок. Потому что министров назначают не уличные демонстранты и снимают их тоже не они. Как в СССР, так и во всем мире, совсем другие людишки в эту игру играют.

А толпе дают цацку, такую игрушечку, именуемую свободой: на, забавляйся и не лезь, куда не надо.

В России, поверьте мне, хоть честнее. Никаких тебе игрушек, а по принципу: всяк сверчок знай свой шесток, или всякому овощу свое время. То есть сиди и не рыпайся, и веди себя, как следует быть. А не то... Сами знаете, не маленький: можно в Сибири задницу остудить — пре-красное лекарство.

И что же мы имеем?

А имеем мы вот что: в Нью-Йорке вечером носа на улицу не высунешь, сиди взаперти и смотри в цветной телевизор, как полиция грузит в амбулансы зарезанных чудаков, рискнувших-таки высунуть свой нос.

А что мы имеем в Москве? Гуляй себе всю ночь до самых до окраин, на каждом углу постовой, дежурные патрули прохаживаются по кварталам, дружинники дуют за

ними, и ты так надежно защищен, что даже можешь пьяным уснуть на мостовой, и тебя, в худшем случае, увезут, болезного, под белы ручки в вырезвитель и там умоют, почистят, уложат под свежие простыни, а утром вернут все документы до последнего и домой отпустят к соскучившейся семье.

Вот я вас спрашиваю: где больше порядку и где понастоящему так вольно дышит человек?

Как пишут в научных журналах: комментариев не требуется.

*Севернее города Малый Ярославец.
Высота 2400 метров.*

Жаль, что мы с вами еще до отлета не были знакомы, я бы вам показал картинку с выставки. Примерно за час до того, как мы поднялись в воздух, в Нью-Йоркский аэропорт прибыл самолет из Рима. Битком набитый советскими евреями. Не так давно сам был в их шкуре, таким же рейсом прилетел из Рима в Нью-Йорк. Со своим бараклом под мышкой, измятый, пожеванный после всех мытарств в Израиле и в Италии, и с точно такой же сумасшедшей надеждой на Америку как последнее пристанище для обалдевшего еврея.

Скажи я им, что возвращаюсь в СССР, они бы меня порвали на части. Сочли бы идиотом или советским агентом. Поэтому я даже не подошел, а стоял в сторонке и наблюдал: вдруг увижу знакомое лицо? Таких не оказалось. Публика, как я воспринял на слух, все больше из Одессы и Киева. Очень устали и очень возбуждены. Знаете, кого они мне напомнили? Жертв кораблекрушения, которым посчастливилось доплыть из последних сил до незнамого берега. И теперь стоят они, мокрые, продрогшие, сбившись в кучку, и лупят глаза. Счастливы, что добрались до твердой земли. Но какая она, как встретит их — не знают. И поэтому нервничают. Не говорят, а кричат.

Еще чуть-чуть — и начнется истерика, забьются в припадке.

Ведь уже проливали они слезы, прощаясь с Россией, сидели и старились на глазах, когда с кровью рвали все нити — друзья, родня — что связывали их с прошлым. И снова плакали, приехав в Израиль, целуя землю в аэропорту Лод и сняв тяжесть странствий с души. Это казалось концом скитаний. Последней станцией. Затем опять бегство. С разбитым сердцем, с оплеванной душой, с пустыми глазами, когда верить уже не хочется ни во что. Лишь бы прибиться куда-нибудь. Где сытно и уютно и можно обо всем позабыть.

Они стояли, сбившись в кучу под сводами прекрасного аэропорта имени Кеннеди, нервно чавкали жевательной резинкой, что в Америке уже вышло из моды, и впереди у них маячил предел мечтаний — американский паспорт. Который выдадут через пять лет, не раньше. И еще при условии безупречного поведения. И при многих других условиях. Которым надо соответствовать. Иначе: вот — Бог, а вот — порог. Просим мотать отсюда к чертовой бабушке.

Я даже знал, какая мысль придет им в голову, — со мной ведь было то же самое, — когда их посадят в автобус и повезут в Нью-Йорк, и Америка встретит их не живыми людьми, а стадами автомобилей на дорогах и бесчисленными кладбищами по сторонам. Еврейскими, католическими, протестанскими. Тысячами надгробных камней. И под каждым камнем будет лежать счастливый обладатель чуда из чудес — американского паспорта, которого нет у них, едущих в автобусе. И неизвестно, будет ли. Что случится через пять лет? Бог знает. Дотянут ли вообще до этого срока. Как я, например.

Сколько их, получив последний удар по лбу, вззоет, плюнет на все и поплетется в Вашингтон на Шестнадцатую авеню.

Нет, нет, Шестнадцатая авеню в Вашингтоне не место для самоубийц, и там нет бюро общественного призрения. Не то, что Бауэри-стрит в Нью-Йорке.

Шестнадцатая авеню — самый респектабельный район

Вашингтона — весьма паршивого городишки, скажу я вам откровенно. Рукой подать до Белого Дома. Если повезет — можно президента живьем увидеть. Пока не взяли его на мушку.

На Шестнадцатой авеню в Вашингтоне стоит родное советское посольство. Воистину последняя станция для очумевших евреев; некогда бывших советскими.

Сейчас вы немного посмеетесь вместе со мной. Хотя, откровенно говоря, я уж не знаю, смешно ли это. Вам судить.

Перед советским посольством стоят не один, не двое, а целых четверо американских полисменов. С широкими задами и спинами, как у битюгов. С увесистыми дубинками в здоровенных лапах. Такой если врежет по черепу — осколков не соберешь.

Они охраняют советское посольство от американских евреев. Сами знаете, что тут иногда творится. Буря! Ураган! Американские евреи затопляют всю авеню. Плакаты, крики в мегафоны, тысячные вопли: отпусти народ мой!

Имеется в виду та часть еврейского народа, что обитает в СССР и которой американские братья пробивают дорогу в Израиль. Не в Америку, а в Израиль.

Сами американцы туда не едут. Чего они там не видали? А вот русским евреям место там.

Поэтому: отпусти народ мой!

В такие дни не четверо, а сотни полисменов отжимают бушующую толпу евреев от посольства, откуда носа не решается высунуть хоть кто-либо.

Но даже в будни, когда нет демонстраций, дежурят не меньше четырех полисменов. Потому что напротив, через дорогу, каждый божий день с утра до ночи, меняясь поочередно, тоже дежурят человек десять-пятнадцать американских евреев. Из молодых, студенты, видать. Чаше в религиозных ермолках. Взявшись в кружок, танцуют на тротуаре и время от времени дружно кричат по-русски с американским акцентом:

— Фараону! Фараону говорю: отпусти народ мой!

Есть у евреев такая песня.

И так каждый день, с утра до ночи. Прохожие привы-

кли к этому, как к бою городских часов. И полицейские. И посольские тоже.

Это на одной стороне Шестнадцатой авеню. На другой же, через дорогу, у фасада посольства, за спинами полисменов можно тоже увидеть евреев. Не американских, а бывших советских. Тех, за кого так надрываются американские на митингах и демонстрациях.

Эти не вопят: отпусти народ мой! Потому что когда-то это кричалось ради них, и их отпустили. Им сейчас впору тихо скулить, пробираясь за спинами полисменов в советское посольство:

— Впусти народ мой!..

Под вопли охрипших американцев с противоположного тротуара: отпусти народ мой! — виновники всего этого шума на брюхе вползают в посольство проситься назад. В Россию. Домой. К маме. К папе.

Я не только наблюдал это со стороны. Как вы сами догадываетесь, я был одним из тех, кто с виноватым видом скребся в двери советского посольства. За широкими спинами полисменов. Под аккомпанемент уже охрипших на той стороне улицы в своей бесконечной пляске борцов за советских евреев:

— Отпусти народ мой!

Меня впустили в посольство. Пришел я не один, а с приятелем, уже не первый раз сюда ходившим. У него все было на мази: документы отправили в Москву, ждал окончательного решения оттуда. Он повел меня, как новичка, чтоб показать, что это не так страшно, а заодно прозондировать почву — как движутся его дела.

Должен вам сказать, как только я очутился внутри, все мои страхи и опасения как рукой сняло. К нам вышел работник посольства, то ли консул, то ли вице-консул — не помню, улыбнулся нам так по-свойски и сказал:

— Заходите, дорогие товарищи. Будьте как дома.

Представляете? Это нам, которые по всем статьям советского закона — изменники Родины, отщепенцы, предатели, лакеи сионизма и империализма — такие слова: дорогие товарищи.

С ума сойти! Да еще: будьте как дома.

Мне даже показалось, что я ослышался. А он, этот малый из посольства, рубаха-парень, истинно русская душа, усадил нас в мягкие кресла, вызвал девушку, тоже русскую, с таким милым, немного монгольским личиком, и говорит:

— Принимай гостей, Тамара. Кофе нам, пожалуйста. И торт «Сюрприз». — И нам так по-хорошему, по-свойски подмигнул. — Тортик свеженький. Вчера прилетел из Москвы.

Нет, положительно можно было сойти с ума. Для нас тут торт «Сюрприз». Только что из Москвы.

Я этот вафельный торт с шоколадом, который, кроме как в СССР, нигде не выпекают, в свое время не очень жаловал. Суховат. Приторен. Всегда можно найти что-нибудь получше. Например, торт «Пражский» из ресторана «Прага» на Арбате.

Но здесь, в Вашингтоне, в фойе посольства, под тремя портретами советских вождей, которые строго, но без злости, а скорее — по-отечески, смотрели на нас, своих двух бывших подданных еврейского происхождения, наломавших кучу дров, и теперь как блудные сыны приползших к родимому порогу, этот торт «Сюрприз» показался мне вершиной кондитерского искусства, и таял во рту, как сливочный крем.

А Тамара эта — Боже мой, сколько приятнейших воспоминаний связано у меня с этим именем — смотрела на нас так ласково, как младшая сестра.

— Каждый имеет право на ошибку, — понимающе сказал нам этот парень из посольства, и у меня запрыгало сердце. Такого в СССР не говорят. По крайней мере, раньше не говорили. В тюрьму отправляли не только за ошибку, но и без всякой твоей ошибки. Так, для профилактики. Бей своих, чтоб чужие боялись.

Значит, многое изменилось в России, пока я тут гулял по заграницам. Либерализм.

Мой приятель, а ему палец в рот не клади, жутко хитрый и ловкий малый, стал задавать посольскому вопросы специально ради меня, чтобы я выслушал ответы и не думал о нем, что зря трепался.

Вопрос первый:

— Скажите, пожалуйста, товарищ начальник, что нужно сделать человеку, потерявшему советское гражданство, чтоб восстановить его и вернуться домой?

Ответ:

— Написать заявление с изложением мотивов. В четырех экземплярах. И заполнить четыре анкеты. Кроме того, желательно иметь формальный вызов от родственников, живущих в СССР, для воссоединения семьи.

Тут я чуть не заржал. Комедия! Водевиль!

Когда мы просились из СССР в Израиль, от нас тоже требовали вызов от израильских родственников на предмет воссоединения семьи. У большинства из нас никакой родни за границей сроду не было. Тогда в Тель-Авиве стали подыскивать каждому желающему тетку или двоюродного брата, липовых, конечно, и высылали от их имени вызов для воссоединения. И люди бросали в Москве отца и мать, а порой и детей, и мчались в Тель-Авив, чтоб соединиться с двоюродным дядей. Все понимали, что это липа, и все делали вид, что принимают всерьез. Шла игра. С обеих сторон. А мы, конечно, были пешками на этой доске.

Теперь игра продолжалась, но уже наоборот. Нужен вызов из России.

Мой приятель спрашивает:

— А если родственников там не осталось?

— Пусть соседи бывшие подпишут, — рассмеялся польский парень, и с ним вместе рассмеялись и мы. Взрослые люди, и притом свои. Нам ли не понимать: раз надо, так надо. Просят — сделай. Не нашего ума дело.

Вопрос второй:

— Как будет с квартирой?

Ответ:

— Внесите здесь доллары и получите в Москве кооперативную квартиру в домах первого класса «Внешпосылторг», приобретаемую исключительно на иностранную валюту. Стоимость одного квадратного метра жилой площади — 90 долларов. Коридоры, кухня, санузел — бесплатно. Таким образом, трехкомнатная квартира обойдется

вам около 5 тысяч долларов. На иностранную валюту можете заказать себе также отечественный автомобиль «Москвич» или «Жигули». В экспортном исполнении.

— Это — малолитражные, — сказал мой приятель и хитро прищурился. — А нельзя ли помощнее и дороже? Например, «Волгу»? Или «Чайку»?

— Вам нельзя, — ответил посольский. — Слишком жирно будет.

И рассмеялся.

Славный оказался парень, этот посольский. И совсем не дуб. На дипломатическую службу нынче с большим отбором посылают. Одного партийного билета мало. Надо еще впридачу кое-что в голозе иметь.

Мой приятель дурачком прикинулся:

— А если у меня деньги останутся? Я тут день и ночь работал на эксплуататоров, накопил маленько. (Уж я-то знаю, откуда эти доллары. За иконы. Он их штук тридцать вывез тайком. Но я молчу. Мое дело — сторона.) Что с ними делать?

— Будто и не знаете? — сделал ему рыбий глаз посольский малый. — Обменяете тут за углом, в отделении советского банка, ваши трудовые доллары на сертификаты. А в Москве на эти сертификаты хочешь — зернистую икру покупай и заграничное барахло в валютном магазине «Березка», хочешь — загоняй сертификаты на черном рынке. Один за восемь рубликов. По такому курсу они, кажется, нынче?

Я влюбился в этого парня. Ну, свой в доску! Какие церемонии между своими людьми? Рубит правду-матку. Вещи своими именами называет. А ведь дипломат. Вот время наступило!

Тут уж и я не утерпел, задал вопрос:

— А скажите, пожалуйста, дорогой товарищ, сколько нам ждать отправки домой? Я знаю, люди полгода назад сдали документы. И никаких результатов.

Он стал серьезным, даже галстук поправил.

— А вы думаете, простое дело оформить въезд на Родину, восстановить советское подданство? Не каждого наша страна принимает обратно. Нужна серьезная прове-

рочка. И кому надо, те этим делом занимаются. Важно, чтоб документы были отправлены в Москву. И запастись терпением.

Тут у меня молния в мозгу сверкнула. Они в наших личных делах там будут копать. Вот когда свое слово скажет проклятая характеристика с места работы, которую каждый уезжающий еврей, харкая кровью, выбивал у своего начальства. Думали, ненужная бумажка? Она, голубушка, лежит, подшитая к делу, кушать не просит и дожидается своего часа. Теперь-то ее извлекут на свет божий и почитают вдумчиво. А ну, какая характеристика у гражданина Рубинчика Аркадия Соломоновича, за чечевичную похлебку предавшего родину и отбывшего в государство Израиль к своим братьям-сионистам?

У меня холодный пот выступил на лбу.

Эта ничтожная бумажка снова будет решать мою судьбу. Я же читал ее. Нужно вспомнить, что там написано. Капитолина Андреевна, мой ангел-хранитель из партбюро, ничего плохого обо мне не писала. Даже наоборот. Отметила положительные стороны. Не разобравшись как следует, для чего эта характеристика составляется. Ой, Капа! Голубушка! Ты мне вторично оказала неоценимую услугу.

Я не забыл, что ты вписала туда своей недрогнувшей партийной рукой. По известному трафарету, который сейчас для меня как сладкая музыка.

Гр-н Рубинчик Аркадий Соломонович работал в тресте таком-то с такого-то по такой-то год. За высокие показатели в социалистическом соревновании неоднократно получал поощрения. Взысканий не имеет. Делу коммунистической партии предан. Печать. И подпись треугольника: партком, профком, администрация.

Урра! Капа, Капитолина! Большого подарка ты мне сделать не могла! Словно знала, провидица, что я обратно запрошусь. Ну, уж я в долгу не останусь. Берегись, диван! Гремите, пружины! Принимай в объятия, заступница моя!

Кстати, должен вам сказать, я ни на минуту не сомневаюсь, что именно эта характеристика решила мою судьбу.

бу. Из сотен евреев, подавших заявление в посольство, я одним из первых лечу в Москву. С чего бы это? То-то.

Но вернемся назад.

Я летел из посольства на Шестнадцатой авеню как на крыльях. Порхнул мимо полисменов. Насмешливо помаhal крылышками американским евреям, напрасно дерущим глотку за нас на другой стороне этой самой авеню. Там как раз происходила смена караула. Охрипшие и безголосые уступали места на тротуаре свежей партии, готовой не жалеть голосовых связок за своих страждущих русских братьев. Сцепившись в кружок, новая смена бодро заплясала и дружно грянула:

— Отпусти народ мой!

Я заржал, как в цирке. Мой приятель тоже. И мы запрыгали как дети по Шестнадцатой авеню, где был припаркован его «Шевроле». А потом, покачиваясь на мягком сиденье и рассеянно глядя на мелькающие то Белый Дом, то Капитолий, то Пентагон, я, ухватившись за одну фразу, оброненную посольским парнем, стал по свойственной мне фантазии распутывать клубок дальше. Меня на мякине не проведешь! Я, ух, какой стреляный воробей!

Хотите послушать, какую картину я тогда нарисовал в голове? Потом сопоставите ее с реальностью и поймете, что моя профессия — парикмахер — это ошибка природы. Мне бы не гнаться над своим парикмахерским креслом, а сидеть развалиясь в министерском кабинете и принимать представителей иностранных держав.

Слушайте, слушайте. Уже скоро Москва, и мы с вами расстанемся, разойдемся в разные стороны, и ваши уши получают заслуженный отдых. А пока, если вы не против, я вас еще немножечко потерзаю.

Комбинация номер один. За эту идею меня можно представить к Ленинской премии по разделу «Экономика».

За комбинацию номер два — вторую Ленинскую премию. На сей раз по разделу «Внешняя политика вместе с внутренней».

Начнем с первой.

Живет, скажем, в Москве такой удалец, как я. Пятая

графа — на экспорт: Вена — Тель-Авив и далее — везде. Всю жизнь мается в крохотной комнатухе и улучшить свои жилищные условия, записавшись в очередь при райисполкоме, он сможет только на Востряковском кладбище. Денег лишних — ни копейки, следовательно, на покупку кооперативной квартиры надежды никакой. Дорога одна — в петлю.

Но есть и другая, мерцающая, как Млечный путь в ночном небе: в ОВИР. Этот еврей загорается страстью к Сиону, подает заявление в ОВИР, зная наш опыт, ничего близко к сердцу не принимает и ждет себе, поплеывая в потолок. С работы выгнали — не беда. Заграничные евреи посылками завалят. Даже и деньжата в иностранной валюте перепасть могут. И вот виза в зубах. И бесплатно. Потому что пару тысяч рублей в пересчете на доллары за него принесло в ОВИР на блюдечке дорогое и любимое голландское посольство, представляющее в Москве интересы государства Израиль.

Москва — Вена. Вена — Тель-Авив. За счет международного еврейства. В Израиле получил квартиру, как репатриант, за треть ее настоящей стоимости, и даже эту треть тебе дали в долг за счет того же еврейства. Затем ты эту квартиру продаешь на свободном рынке втрое дороже, и уже не мировому еврейству, а конкретным израильтянам. Возвращаешь долг, как приличный человек, и кладешь чистыми в карман двадцать тысяч долларов. С этими деньгами летишь в Рим, живешь в Италии и учишь английский язык. За счет мирового еврейства. За их же счет прилетаешь в Америку со всем своим багажом. И... прямым ходом в Вашингтон на Шестнадцатую авеню. Мимо американцев, галдящих: отпусти народ мой! — к тому чудному малому из посольства, что угощает тортом «Сюрприз». Так, мол, и так, подыхаю от тоски по родине, на личном опыте убедился в преимуществах социализма над капитализмом, хочу отдать остаток сил делу строительства коммунистического общества. Получаешь братский поцелуй в темячко, четыре анкеты в зубы. И вот уже ты летишь в Москву. Входишь в свою собственную роскошную квартиру (пять тысяч долларов), садишься в

сверкающий никелем автомобиль, отделанный по высшему классу качества — на экспорт (две тысячи долларов) и на оставшиеся тринадцать тысяч можешь пару лет бить баклуши, жрать исключительно черную икру вперемешку с осетриной и запивать виски «Белая лошадь» из валютного магазина «Березка».

Можно обернуться за год-полтора, и из бездомного бедняка, как в сказке, превратиться во владельца квартиры и автомобиля, жрать самое вкусное, советским людям недоступное, наряжаться во все заграничное, как иностранный турист, и при этом погулять за чужой счет по всему миру. Вена, Тель-Авив, Рим или Брюссель, Нью-Йорк, Вашингтон.

Ну как? Неплохая идея? Учтите, абсолютно реальная. Волки сыты и овцы целы. И еще кое-что впридачу. Этот самый еврей, советский гражданин, отхватывает приз, как в беспроигрышной лотерее. Таким образом, повышается уровень жизни в стране. Советская власть получает, не затратив ни гроша, двадцать тысяч чистенькими в иностранной валюте. А если пустить тысячи евреев по этому маршруту? Только успевай умножать.

Заслуживаю я быть представленным к Ленинской премии по разделу «Экономика, финансы»? Возражений нет? Значит, принято единогласно.

А теперь переходим к другой комбинации. Тут вы услышите кое-что поинтересней. Не только Ленинскую премию не пожалеете за такое дело, но еще и орден Ленина, как минимум, приколете мне на грудь. Потому что речь пойдет о чести советского государства, о его престиже. Я вам, как своему человеку, расскажу план крупнейшей операции, одной из самых блестящих политических побед Советского Союза сразу на двух фронтах: на внешнем и на внутреннем.

Не я это все придумал. Это сделали умные люди в Москве. Я только разгадал весь план, как говорят ученые, вычислил. Потому что я не лыком шит и не пальцем делан, и кое-что от царя Соломона-мудрого перепало мне по наследству. Иначе зачем бы в моем советском паспорте гордо красовалось в пятой графе клеймо: еврей.

Этот посольский малый, что тортом «Сюрприз» угощал, провожая нас до дверей и стараясь подбодрить, обронил, как бы невзначай, вот какую фразу:

— Поедете домой. Главное, чтоб все ваши документы лежали в Москве до того, как в Америку приедет с официальным визитом глава нашего государства.

Ну, как вам понравилась эта фразочка? Какой-нибудь смысл вы в ней уловили? Не догадались? Мой приятель, с которым я был тогда в посольстве, тоже ушами прохлопал и пропустил мимо ушей такой важный намек.

А меня сразу обожгло. В голове заработала электронно-вычислительная машина, и я получил результат, от которого чуть не стал заикаться. Я увидел гениальный ход.

Значит, так. На Шестнадцатой авеню в Вашингтоне советское посольство с тортом «Сюрприз» и улыбочками принимает своих беглых евреев, пожелавших вернуться в объятия фактической, а не исторической родины. Документы с просьбами идут в Москву, там только ручки потирают, складывают в стопочки, судят-рядят, кого пустить, а кому — от ворот поворот. Папки пухнут, толстеют. Несколько сот семей уже получили от начальства «добро», но их не извещают. Сидите, томитесь в Америке. Придет время — позовем. Всех вместе. Скопом.

Все — до определенного часа. Когда пробьет колокол. А когда же он пробьет, колокол этот? Когда в Америку собственной персоной с официальным визитом под пушечный салют пожалует сам вождь советского народа. Можете себе представить, какую встречу ему приготовят американские евреи? Вопли! Стоны! Плакаты! Тысячные толпы гневных демонстрантов.

— Фараон! Отпусти народ мой! За свободный выезд евреев из СССР! Откройте темницы! Дайте нам обнять наших страждущих братьев! Кровопийцы!

Все антикоммунисты млеют от удовольствия. Получил, мол, советский лидер, что заслужил. Так его, голубчика, ату его, болезного.

Ай, да евреи! Ай, да молодцы! Показали ему кузькину мать! Заклеймили! Пригвоздили к столбу!

Газеты улюлюкают, телевидение лопается от злорадства. Полный провал Советского Союза на внешнеполитической арене. Советскому лидеру впору тайком бежать домой, запереться в Кремле и нос не высовывать.

И вот тогда-то и срабатывает торт «Сюрприз», который с хрустом поедали в посольстве евреи. Тот самый малый, что угощал нас, издает молодецкий свист, скликает (по телефону, конечно, но и на телеграмму можно раскошиться) всех, чьи документы получили в Москве положительное решение. С детьми, в полном составе, не менее тысячи евреев прибывают в Вашингтон к указанному сроку и в указанное место.

Занавес поднят, спектакль начинается.

На глазах у изумленной Америки, и не только Америки, но и всего мира (зачем же тогда телевидение и спутники в космосе?) на площади перед резиденцией, где должен по всем прогнозам сгорать от стыда советский лидер, собирается большая толпа бывших советских евреев и порусски хором поднимает крик.

Тогда на крылечко резиденции выходит в сопровождении свиты сам высокий гость. Толпа евреев бухается на колени и, как в русских сказках, в тысячу глоток вопит:

— Батюшка! Отец родной! Не вели казнить, дозволю слово вымолвить!

И на глазах у всего человечества (телевидение крутит в сотни глаз) вождь советских народов, самый большой гуманист на земле, гневно вскидывает соболиную бровь и вопрошает с отеческой тоской:

— Кто вас научил стоять на коленях? Вы же были советскими людьми! Где ваша бывшая гордость? Вот, что делает проклятый капитал с человеком, вот как ломает его душу и гнет в бараний рог. Встаньте с колен! Выше головы! Советская Родина великодушна, она не бросит в беде даже блудных сынов своих!

— Домой! Домой! Забери нас! Отец родной! — в тысячу ручьев заливаются толпа и тянет руки к крылечку.

Весь мир замер в шоке.

Поднял руки над головой советский лидер, призвал к вниманию и молвил таковы слова:

— Нет счастья на капиталистической чужбине советскому человеку. Пустили мы вас в Израиль, поддавшись шантажу сионистов и империалистов. А теперь вы горько плачете. Пусть видит весь мир, на чьей стороне правда, пусть воочию убедится в преимуществах социализма над загнивающим капитализмом. Пусть захлебнутся в бессильной злобе провокаторы и торговцы живым товаром, заманивающие сладкими посулами некоторых легковверных наших сограждан. Эта толпа, рвущаяся назад, в отчий дом, лучший ответ на провокации. От имени советского народа я отворяю перед вами ворота Родины. Мы пришлем за вами специальные авиалайнеры, а вот этих, с детишками, я беру в свой личный самолет. А ну, дайте мне этого ребенка! Это же наше советское дитя! Не плачь! Утри слезки. Домой поедешь, маленький. Тебя как зовут? Шмулик? Абраша? Ах, Саша! Наше, русское имя... Дайте мне платок... у меня слезы... сердце разрывается...

Надо ли говорить, какую оплеуху получит весь мир! Как все евреи, во всех странах наберут полный рот воды и заткнутся! Как воспрянет духом международный коммунизм!

Небывалая победа над врагом внешним. Остается враг внутренний — свой собственный народ. Для него разыгрывается следующий акт этой комедии.

Представьте такое зрелище. В московском аэропорту Шереметьево один за другим садятся самолеты, полные евреев-возвращенцев. Сотни людей с детьми на руках, с бабушками под мышкой валят по трапам, кидаются на заплыванный бетон летного поля и целуют его взасос.

А к аэропорту колоннами пригнали трудящихся Москвы. С заводов и фабрик. Десятки тысяч. Духовые оркестры надрывают душу маршем «Прощание славянки». Рыдают евреи, рыдают русские. Какая-нибудь партийная дама, вроде нашей Капитолины Андреевны выхватит из толпы пассажиров своего бывшего подопечного, на глазах у всего честного народа и для телевидения прижмет его к своей могучей груди, как Родина-мать на плакатах. И тут уж заголосит вся Русь, и слезы затуманят экраны телевизоров.

Каков же результат? Убийственный. Всякому, кто нос воротит, недоволен советским строем, косится на Запад — урок на всю жизнь. Уж если евреи назад в Россию бегут, а у них такая мировая поддержка, по всем странам свой брат-еврей, то куда уж нам, с нашим рылом соваться. Нам-то уж точно там, на чужбине, пропасть ни за грош. Так что сидите, не рыпайтесь, держитесь за Россию-матушку и Бога молитесь за советскую власть.

Лучшей пропаганды не придумаешь. Скоро, очень скоро вы увидите, как это будет сделано. И тогда вспомните Аркадия Рубинчика.

Что такое? Уже Москва? Боже! Как быстро.

Не курить! Привязать ремни!

С удовольствием! Дайте-ка мой ремень. Ой, я нечаянно к вам в карман рукой попал. Извините. Что это? Микрофон? У вас в кармане? И провод тянется... Не понимаю. Зачем под креслом магнитофон? И кассеты вертятся?

Вы что? Всю дорогу записывали? Все, что я говорил? Зачем? Погодите... минуточку... а что я говорил? Ей-богу, я не помню, что я говорил.

Так-так, уважаемый. Наконец, вспомнил, где я вас видел. Вы же старый спец по магнитофонам. Когда меня по рекомендации нашего парторга Капитолины Андреевны пытались обучить английскому языку, чтоб подслушивать разговоры иностранных клиентов — это были вы... тот самый в штатском... из большого дома на Лубянке, где грозились показать меня специалистам, как феномен. Ну, конечно, вы! Та же морда!

Не троньте меня! Отпустите мои руки! Зачем вы так стягиваете ремни? Мне больно! Я не хочу сидеть! Я хочу стоять!

Остановите самолет! Не давайте посадки!

Не хочу в Москву! Боже мой! Я ведь все забыл. Пока я болтался за границей, потерял иммунитет, и у меня теперь недержание речи. Я научился держать язык за зубами. Я приучился болтать все, что вздумается. Теперь мне в Москве — крышка.

Не хочу в лагерь! Не хочу в тюрьму! Никуда не хочу!

Ни вперед, ни назад! Не надо садиться на землю. Для меня там места нет.

Ну, сделайте мне одолжение — —

Мне, Аркадию Соломоновичу Рубинчику — —

Инвалиду Отечественной войны — —

Парикмахеру первого класса — —

Бывшему гражданину СССР — —

Бывшему гражданину Израиля — —

Бывшему обладателю американской грин-карты, а это почти что паспорт — —

Я никому ничего плохого не сделал — —

Я только хотел жить как человек, а вышло совсем по-другому — —

Я очень устал — —

Сделайте мне одолжение — —

Остановите самолет — я слезу — —

Иерусалим, 1975 г.

ОТ АВТОРА

Считаю своим общественным долгом предупредить читателей: не принимайте на веру все, что наболтал в самолете Аркадий Рубинчик. Во избежание всяческих недоразумений.

А то один нью-йоркский парикмахер (недавний иммигрант из СССР) ухитрился ознакомиться с этой книгой еще в рукописи и все принял за чистую монету. Он тоже небольшого росточка, как Аркадий Рубинчик. Так же не долго побыл в Израиле. Да и по мелочам обнаружил много совпадений биографического характера.

И решил парикмахер, что Аркадий Рубинчик с него списан. За исключением финала. Чтобы достичь полного сходства с литературным героем, а может, и по каким-либо иным соображениям, он направился в Вашингтон, на Шестнадцатую авеню, добился приема у советского консула, выложил ему наизусть весь текст Аркадия Рубинчика и был крайне поражен, что ответы консула не совпали с прочитанным в книге.

Он вернулся в Нью-Йорк контуженным: без всякого альпинистского снаряжения вскарабкался по карнизу на жуткую высоту небоскреба и стал оттуда плевать на весь Божий свет.

Полицейские сняли его с помощью последних достижений американской техники и водворили в госпиталь имени Рузвельта, где бедняга и поныне пребывает на средства мирового еврейства.

Поэтому еще раз предупреждаю: ни в коем случае не ищите в персонажах книги свои личные приметы и приметы своих знакомых. Книга — плод чистой фантазии автора. А с фантазии какой спрос?!

Э. С.

Иерусалим, 1975 г.

Давид Дар — старейший писатель из числа эмигрировавших из СССР в Израиль. В Ленинграде он руководил объединением молодых неофициальных прозаиков и поэтов, за что подвергался гонениям со стороны властей. Автор ряда книг, опубликованных в СССР и на Западе.

В разгар газетной шумихи, развернувшейся в Израиле вокруг произведений Э. Севелы, он обратился в редакцию тель-авивского журнала «22» со следующим заявлением:

Уважаемый господин редактор!

Некоторое время назад в газете «Наша страна» была опубликована пространная статья поэта Бориса Камянова, осуждающая книгу Эфраима Севелы «Остановите самолет — я слезу!». Мне кажется, что Борис Камянов обиделся на писателя за наше еврейское государство, которое выглядит в книге Севелы таким же непривлекательным, как Америка и Россия.

Мне понятно чувство поэта, его любовь к нашей родине и гордость за нее, но, я думаю, Эфраим Севела вовсе не дал повода для обиды.

Тысячи русских евреев сидят на чемоданах. Мечутся между Россией, Америкой и Израилем. Ищут лучшей жизни. Перед ними извечный вопрос: где она, лучшая жизнь? Это не такой уж праздный вопрос. Есть ли в мире та обетованная страна, где текут молочные реки в кисельных берегах?

Если бы Бог создал всех евреев одинаковыми, как спички, тогда еще можно было бы сказать, где каждый еврей может найти свое счастье. Но еврейский народ дал миру и Спинозу и Беню Крика, и Эйнштейна и начальника Беломорско - Балтийских лагерей НКВД Раппопорта, и Рудольфа Баршай и парикмахера Московского союза писателей Аркадия Рубинчика. Вряд ли представления о счастье Рудольфа Баршай и Аркадия Рубинчика совпадают. Если Рудольф Баршай нашел свое место в Израиле, то Аркадий Рубинчик здесь его не нашел. И я не знаю, можно ли его за это осудить. Скорее, можно пожалеть.

Герой сатирического повествования Эфраима Севелы парикмахер Рубинчик принадлежит к хорошо известному типу — искателя счастья. Но это уже не тот трогательный шолом - алейхемский искатель счастья из черты оседлости. Это московский еврей, лишенный всяких национальных

корней, болтливый и развязный обыватель, атеист и циник, у которого нет ничего святого. Он предприимчив, изворотлив, нагл, не глуп — эдакий обрезанный Остап Бендер.

Малопривлекательного героя выбрал для своей книги Эфраим Севела, нечего и говорить. Но разве о героях и про- роках писали Гоголь, Зоценко, Стерн?

Эфраим Севела, на мой взгляд, талантливый сатирик. Быть может, лучший сатирик, пишущий сейчас на русском языке. Он обладает, по справедливому отзыву известного американского писателя Ирвина Шоу, «поразительным даром высекать искры юмора из самых страшных и трагических событий».

Высокая литературная сатира, в отличие от фельетонного юмора, всегда имеет дело с трагическим. И в большинстве случаев использует отрицательных героев. Вспомним гоголевского «Ревизора», в котором нет ни одного положительного героя, но есть потрясающая трагедия русской действительности. Или героев Зоценко, убедительнейших свидетелей главного итога революции семнадцатого года — победы и торжества самодовольного и невежественного обывателя. Малосимпатичный герой Эфраима Севелы, этот наглый и развязный болтун, рассуждающий обо всем на свете, оказался весьма удачной, на мой взгляд, фигурой, чтобы показать трагедию той, немалой части русского еврейства, которая не сумела сделать выбор: куда ехать.

И Россия, и Америка, и Израиль изображены автором такими, какими их увидел Аркадий Рубинчик. А если он увидел и у нас немало плохого, так тем хуже для нас. Что же на это обижаться? Борис Камянов обижается, почему Аркадий Рубинчик не увидел у нас ничего хорошего. Да по той причине, что он ничего не понял — ни что такое Израиль, ни что такое евреи, ни что такое он сам, московский еврей Аркадий Рубинчик. И, ничего не поняв, он решил возвратиться обратно в Россию.

Напрасно Борис Камянов обвиняет писателя в том, что он «не поднялся» над своим героем. Писатель сурово осудил Аркадия Рубинчика. Он привел его прямо в лапы КГБ. Не зря же длинный монолог Рубинчика, составляющий всю книгу, заканчивается трагическим воплем: «Сделайте мне одолжение . . . Остановите самолет — я слезу».

Борис Камянов опасается, что читатель не поймет, как отнесится писатель к своему герою. Однако, настоящая ли-

тература никогда не является манной кашей для беззубого читателя. Серьезный писатель всегда уважает своего читателя и предполагает, что читатель сам, без авторской подсказки, определит, чем отличается, скажем, Смердяков от Алеши Карамазова.

Кстати, Севела и прямо высмеивает Аркадия Рубинчика. Эпиграфом к книге стоит брачное объявление: «Красивая, 23 года, говорит немножко на русском, грузинском и иврите, хочет познакомиться с подходящим молодым человеком — тугоухим или глухонемым, с целью замужества».

Не в этом ли эпиграфе все отношение писателя к своему тугоухому и глухонемому, хотя и болтливому, герою?

Но дело, в конце концов, вовсе не в том, «отмежевался» ли автор от своего героя или нет. Значение этой талантливой книги Севелы, на мой взгляд, состоит в том, что, мастерски пользуясь средствами сатиры, писатель создал блестящую по форме книгу, посвященную трагедии ассимилированного русского еврейства, мечущегося по миру в поисках своего счастья.

ДАВИД ДАР

Эфраим Севела родился в 1928 году в СССР. Окончив университет, работал журналистом, затем увлекся кино. По его сценариям поставлено восемь художественных фильмов. В последнем, трагикомедии «Годен к нестройной», он проявил себя одаренным режиссером.

В 1971 году он по своей воле отказывается от успешной карьеры и вступает в открытую и опасную борьбу с советской властью за право евреев на собственную культуру, за право жить на исторической родине — в Израиле. Он был одним из тех 24 мужественных евреев, участников первой политической забастовки в Москве, в приемной Президиума Верховного Совета СССР 24 февраля 1971 года, которая пробила брешь в железном занавесе и дала толчок массовой еврейской эмиграции. В том же году он поселился в Иерусалиме.

Шесть лет безуспешно пытался он найти себе применение в Израиле и, отчаявшись, с горечью покинул страну, о которой мечтал, и переехал в Нью - Йорк.

Талант, трудолюбие и бескомпромиссность Эфраима Севелы принесли желанные плоды. Его книги вышли уже восемнадцатью изданиями, переводятся на новые и новые языки, и устами многих авторитетных критиков он провозглашен одним из крупнейших еврейских писателей современности. Не печатают его, разумеется, на бывшей родине — в СССР. Также захлопнулись перед ним двери еврейских издательств на исторической родине — в Израиле.

Севела снова вернулся в кино. Его сценарии приобрели американские, британские и немецкие кинокомпании. Он приглашен в Германию поставить многосерийный телевизионный фильм по своей книге «Моя Цацкес — знаменосец», пользующейся большой популярностью в этой стране. Недавно он был удостоен высокой чести. Немецкое издательство «Ланген - Мюллер» включило отрывок из его прозы в сборник произведений 15 крупнейших сатириков мира наряду с такими авторами, как Ярослав Гашек, Шолом - Алейхем, Арт Бухвальд, Михаил Зощенко.



Эфраим Севела в израильской армии. Октябрь 1973 год.

Эфраим Севела, подобно пророку Исайе, попытался сказать горькую правду своему народу, и его постигнет та же участь - его забросают камнями.

*Аолам Азэ,
Израильский еженедельный
журнал*